

III  
**ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА**

### О РОМАНЕ ФОН ПОЛЕНЦА «КРЕСТЬЯНИН»

Крестьянин. Роман Вильгельма фон Поленца. Перевод с немецкого В. Величкиной. С предисловием графа Льва Николаевича Толстого. Издание «Посредника», для интеллигентных читателей. Москва, 1902.

До сих пор в «Заре» почти не было отзывов о беллетристических произведениях. В будущем их, вероятно, появится очень немного: недостаток места заставляет нас ограничиваться в нашем обзоре новых книг литературными произведениями, имеющими более близкое отношение к социализму. Но роман фон Поленца «Крестьянин» хорошо изображает те самые стороны общественной жизни, о которых так много говорится в социалистической и вообще в социально-политической литературе. Это — чрезвычайно интересная экскурсия в области «аграрного вопроса». Нам хочется обратить на нее внимание наших читателей.

Зажиточный крестьянин Траугот Бютнер, всю жизнь работавший не покладая рук со всем своим семейством и всю жизнь остававшийся верным религии «сбережения», мало-помалу попадает в руки ростовщиков, совершенно лишается своего имущества и, наконец, обнищавший и всеми брошенный, вешается на дереве. Такова фабула романа. Эта фабула послужила фон Поленцу поводом для тонкого анализа психологии современных немецких крестьян средней руки. Перед нами, как живые, выступают эти закаленные, неутомимые труженики, которые чувствуют, что из-под их ног ускользает почва, делают судорожные, почти инстинктивные движения для того, чтобы сохранить равновесие, но в конце концов сознают свое бессилие в борьбе с неведомой им безличной силой. «У Траугота Бютнера, — говорит фон Поленц, — было только тупое чувство, смутное

сознание, что над ним совершается большая несправедливость. Но кто мог бы сказать: как и кем? Кого должен был он обвинять? Это-то и было жутко, что объяснения нельзя было найти. Беда пришла в потемках, и он не знал даже, откуда. Люди получили право на него самого и на его собственность, — чужие, незнакомые люди, имени которых он не знал и два года тому назад. Он не сделал никакого зла этим людям и только принял от них помощь, которую они ему навязывали сами. А из этого какими-то непонятными ему оборотами и махинациями выросли права, которые беспомощно отдавали его в руки этих людей. И сколько бы он ни ломал себе голову, ему невозможно было понять во всем объеме того, что произошло».

В романе фон Поленца непосредственной причиной разорения Траугота Бютнера являются евреи Гаррасовиц и Шенбергер. Это обстоятельство может навести на мысль о том, что социальная философия романиста не лишена некоторой примеси антисемитизма. Но мы не думаем, чтобы он предпочитал христианских капиталистов еврейским. Христианин трактирщик Эрнст Кашель вышел у него еще менее привлекательным типом, чем ростовщики-евреи. К тому же в его романе ярко изображается именно безличная сила капитала, действие которой было бы нелепо относить на счет какой-нибудь отдельной расы. Вот почему мы, не останавливаясь далее на этом вопросе, попросим читателя заметить, как хорошо обнаружена у фон Поленца причинная зависимость между экономическим бытом крестьян, с одной стороны, и их психологией — с другой. В той местности, где живет со своей семьей Траугот Бютнер, — очевидно, это один из уголков так называемой Остэльбии, — крестьянин является мелким самостоятельным производителем, который хотя и поглядывает на батраков с высокомерным презрением, но все-таки еще не считает себя представителем высшего класса. Высший класс представлен там крупным титулованным землевладельцем, которого крестьяне называют бариниом и в котором они, по преданию, сохранившемся еще от времен крепостного права, видят самого опасного своего неприятеля. Иное находим мы в той части Саксонии, куда младший сын Траугота Бютнера, отставной унтер-офицер Густав, отправляется на летние полевые работы. Здесь «немногочисленные крестьяне были настоящими господами. Они разъезжали верхом и в экипажах, как настоящие помещики, жили в больших, прекрасных домах и посылали своих детей в городские школы. Когда они сходились, то говорили друг другу «вы», и ни один из этих больших господ не позволил бы себе есть за одним столом со своими работниками». Классовые предрассудки проникают в голову крестьянина всего сильнее там, где его собственное сословие, вследствие развития противоречий, коренящихся в его экономическом положении, подразделяется на два класса: класс

людей, живущих эксплуатации чужой рабочей силы, и класс людей, продающих свою собственную рабочую силу.

Очень хорошо изображен фон Поленцом консерватизм, свойственный современному немецкому крестьянину. Отец Траугота Бютнера, Леберехт Бютнер, «ни за что не хватался с поспешностью, даже и за хорошее. Его крестьянская сметливость подсказывала ему, что прежде надо еще посмотреть да выждать, дать другим вытащить каштаны из огня, не заводить у себя ничего, что другие раньше не испробовали, и идти несколько сзади тех, кто шел впереди. Только с осторожностью и обдуманностью приступал он к новшествам. Он довольствовался синицей в руке и предоставлял другим гоняться за журавлями в небе». Но Леберехт Бютнер все-таки был человеком, выдающимся по уму, энергии и предприимчивости. А его сын, главный герой романа, уже знакомый нам Траугот Бютнер, человек средний и потому более типичный представитель своего сословия, выступает перед нами как чистокровный консерватор. «Старый Бютнер не был мечтателем, — говорит автор. — Его интерес всегда был направлен к самой строгой и трезвой действительности, а тяжелая работа не оставляла ему досуга для каких-либо фантазий или пустых мечтаний. Но одно только было глубоко заложено в его душе: своими мыслями он много жил в прошлом. Прошлое для него было постоянным спутником настоящей его жизни и говорило с ним понятным ему языком... Прошедшее составляло для него не только любимый уголок его души, но оно даже решающим образом действовало на все его дела. Своей волей, намерениями и поступками он был связан со своими предками... при этом он почти никогда не говорил о прошлом. Всякие рассуждения, поскольку они не служили определенной практической цели, он считал праздным занятием».

Если бы человек, настроенный таким образом, взялся за общественную деятельность, то он, естественно, захотел бы «повернуть назад колесо истории». Но он слишком погружен в свои личные интересы, чтобы взяться за такую деятельность. В его глазах она тоже есть праздное мечтание.

Немецкий крестьянин Траугот Бютнер очень многими чертами своего характера поразительно напоминает русского крестьянина Ивана Ермолаевича, фигурирующего в одном из очерков покойного Г. И. Успенского и изображенного — мимоходом сказать — с еще большим художественным талантом. В таком сходстве нет ничего удивительного: сходные социальные причины, естественно, порождают сходные психические последствия. Но сходство это могло бы, в случае нужды, послужить одним из ручательств за то, что оба эти характера верны действительности.

Если бы общественные условия, создающие типы, подобные Трауготу Бютнеру, оставались неизменными в течение многих тысяч лет, то и психология этих типов не изменилась бы ни на

волос. Но Германия — не Китай, и потому консерватизм Бютнера не избавил его от «новых веяний». Эти новые веяния вторглись в его жизнь в виде новых приемов борьбы за существование и, разорив его хозяйство, сделали из его старшего сына Карла жалкого деревенского пропойцу, а его самого толкнули, как мы уже знаем, на самоубийство. Его младший сын, уже упомянутый выше Густав, идет сперва на летние работы в Саксонию, а потом попадает в крупный городской центр, где его, варвара, жившего до тех пор вне великих духовных интересов цивилизованной жизни, постепенно захватывает поток великого общественного движения. Его бывший сослуживец и неизменный приятель, веселый, беззаботный кутила Гешке, сильно затронутый социал-демократической пропагандой, ведет его на собрание «б е з р а б о т н ы х», где перед его глазами открывается новый, не виданный им мир: «Густав был совершенно озадачен. Ведь они имели вид тех самых нищих и бродяг, которых он не раз отгонял от дверей отцовского дома. А теперь со стыдом он должен был сознаться, насколько эти скромные люди превосходили его. Как умело находили они слова, чтобы выразить свои мысли! Они описывали свое бедственное положение, сообщали то, что личным опытом они добыли и узнали на фабриках, шахтах или на большой дороге. Они говорили о бессердечии богачей, говорили и о жестокости работодателей! Потом они описывали страдания своих семей. И на мрачном фоне настоящего тем ярче блестела картина будущего: их требования, их смелые надежды и ожидания того, что должно наступить — равенство, награда за их страдания, счастье, — тот земной рай, который предсказывали им их учителя и сияние которого уже светилось в их глазах. Слова этих людей тронули сердце Густава, он почувствовал, что та нужда, которую они описывали, была как бы его собственной. Он был весь на их стороне. Он понял то, что одушевляло их. Это было общее дело. Одна общая всем надежда, один дух, одна мысль находили отражение во взоре их глаз, владели выражением их лиц, их движениями, их языком. Одна идея наполняла их, укрепляла их дух, воспламеняла их одушевление, их надежду, поднимала их выше самих себя и заставляла казаться каждого в отдельности выше, чем на самом деле был... Настоящее было для них, как мрачное подземелье, отдаленное глубиной от всякой красоты, озаряющей поверхность. Взоры их неподвижно были обращены к тому небольшому далекому отверстию вверху, откуда к ним проникали лучи солнечного света и тепла; туда вверх стремились они».

Служа в армии, Густав не раз слышал, конечно, нападки на социал-демократов, и слово «к р а с н ы й» сделалось у него бранной кличкой. Теперь он увидел свое заблуждение.

«Одно стало ему ясно в этот вечер: это были неплохие люди. Не злоба и подлость руководили ими, — их влекло то же стремление, которое одушевляло и его, и всякого другого смертного, это — желание лучшей участи».

Раз увидев свет, Густав уже не мог от него отвернуться. Его потянуло на другие собрания. «Он слышал речь знаменитого депутата рабочей партии в рейхстаге. Через Гешке он познакомился с некоторыми членами партии. Он узнал о существовании могучего, широко распространенного союза, власть которого глубоко проникала во все эти жизненные отношения. И чем больше он видел, тем больше притягивало его к себе то, что он узнавал. Он как будто стал на краю самого водоворота. Он чувствовал, что водоворот захватил его, противился ему, но все более и более втягивался в роковой круг».

Фон Поленц ничего не говорит в своем романе о своих собственных социально-политических взглядах. Но по некоторым признакам мы решаемся с уверенностью сказать, что он далеко не социал-демократ. Попадаются в его описаниях даже черточки, заставляющие думать, что хотя он и описывает рабочие собрания как школу высокого нравственного идеализма, но в глубине души он не совсем еще отделался от взгляда на пролетария как на существо, лишенное всяких нравственных устоев. Тем дорожке для нас та дань справедливости, которую он заплатил нашей партии в Германии. Социал-демократия несет в трудящуюся массу свет сознания и огонь великой, благородной страсти. Какая общественная роль может быть выше этой?

Очень интересно отметить и это психологическое наблюдение: чтобы принять участие в великом освободительном движении нашего времени, крестьянин должен покинуть свою крестьянскую точку зрения и перейти на точку зрения пролетариата.

Граф Л. Н. Толстой написал к роману фон Поленца предисловие, в котором он, очень расхвалив это действительно достойное похвалы художественное произведение, говорит о том, какова должна быть настоящая литературная критика. Он — большой враг тех критических статей, которые пишутся собственно не о художественных произведениях, а только по поводу их. Но его предисловие само представляет собою критическую статью, в которой очень мало говорится о романе фон Поленца и очень много именно по поводу его.

У нас нет под рукой немецкого подлинника «К р е с т ь я н и н а». Поэтому мы не знаем, везде ли точно перевела его г-жа В. Величкина. Мы видим только, что она превосходно владеет нашим могучим, гибким и богатым языком. А это «по нынешним временам» уже большая заслуга со стороны переводчика.

## ГЕНРИК ИБСЕН

В лице Генрика Ибсена (родился в 1828 г.) сошел со сцены один из самых выдающихся и самых привлекательных деятелей современной всемирной литературы. Как драматург он был едва ли не выше всех своих современников.

Конечно, те, которые сравнивают его с Шекспиром, впадают в очевидное преувеличение. Как художественные произведения, его драмы не могли бы достигнуть высоты драм Шекспира даже в том случае, если бы он обладал колоссальной силой Шекспирова таланта. Даже и тогда в них заметно было бы присутствие некоторого нехудожественного — скажу больше — антихудожественного элемента. Кто внимательно читал и перечитывал драмы Ибсена, тот не мог не заметить наличия в них этого элемента. Именно благодаря этому элементу его драмы, местами полные такого захватывающего интереса, местами становятся почти скучными.

Если бы я был противником идейности в искусстве, то я сказал бы, что присутствие указанного элемента в драмах Ибсена объясняется тем, что все они насквозь пропитаны идейностью. И такое замечание на первый взгляд могло бы показаться чрезвычайно метким.

Но таким оно могло бы показаться именно только на первый взгляд. При внимательном же отношении к делу такое объяснение пришлось бы устранить, как совершенно несостоятельное.

В чем же дело? А вот в чем.

Рене Думик справедливо сказал, что отличительную черту Ибсена как художника составляет «вкус к идеям, т. е. нравственное беспокойство, интерес к вопросам совести, потребность взглянуть на все явления повседневной жизни с одной общей точки зрения». И эта черта — эта идейность, — взятая сама по себе, не только не составляет недостатка, но, напротив, является огромным достоинством.

Именно благодаря этой черте мы любим не только драмы Ибсена, но и самого Ибсена. Именно благодаря ей он имел право сказать, как он говорит это в письме к Бьернсону от 9 декабря 1867 г., что он был серьезен в направлении своей жизни. Наконец, именно благодаря ей он стал, — как выражается о нем тот же Думик, — одним из величайших профессоров «бунта человеческого духа»<sup>1</sup>.

Проповедь «бунта человеческого духа» сама по себе совсем не исключает художественности. Но нужно, чтобы она была ясной и последовательной, нужно, чтобы проповедник хорошо разобрался в тех идеях, которые он проповедует; чтобы они вошли в его плоть и кровь; чтобы они не смущали, не сбивали, не затрудняли его в момент художественного творчества. Если же это неперемное условие отсутствует, если проповедник не сделался полным господином своих идей, если его идеи к тому же неясны и непоследовательны, тогда идейность вредно отразится на художественном произведении, тогда она внесет в него холод, утомительность и скуку. Но заметьте, что вина будет падать здесь не на идеи, а на умение художника разобраться в них, на то, что он, по той или по другой причине, не сделался идейным до конца. Стало быть, вопреки тому, что кажется на первый взгляд, дело не в идейности, а — как раз наоборот — в недостатке идейности.

Проповедь «бунта человеческого духа» внесла в творчество Ибсена элемент величия и привлекательности. Но когда он проповедывал этот «бунт», то он сам хорошенько не знал, к чему он должен привести. Поэтому он, — как и всегда бывает в подобных случаях, — дорожит «бунтом» ради «бунта». А когда человек дорожит «бунтом» ради «бунта», когда он сам не понимает, к чему бунт должен привести, тогда его проповедь по необходимости становится туманной. И если он мыслит образами, если он художник, то туманность его проповеди непременно приведет к недостаточной определенности его образов. В художественное произведение вторгнется элемент отвлеченности и схематизма. И этот отрицательный элемент несомненно присутствует, — к большому вреду для них — во всех идейных драмах Ибсена.

Возьмем хоть «Бранда». Думик называет мораль «Бранда» революционной. И она, несомненно, является таковой, поскольку она «бунтует» против буржуазной пошлости и половинчатости. Бранд — непримиримый враг всякого оппортунизма, и с этой стороны он очень похож на революционера, но только похож и только с одной стороны. Прислушайтесь к его речам, он говорит:

Юные, бодрые души, за мной!  
Ваше дыханье живое  
Пыль в этом затхлом  
углу да сметет!  
Вас поведу я к победе!  
Рано или поздно проснуться должны,

<sup>1</sup> Le théâtre d'Ibsen, «Revue des deux Mondes», 15 Juin, 1906 [Театр Ибсена, «Ревю дэ де Монд», 15 июня 1906].

стать благородней и чище,  
цепь компромиссов порвать.  
Так скорее прочь из  
оков малодушья,  
тины раздвоенности!  
На врага смело ударьте  
всей силой,  
бейтесь с ним — не на живот,  
а на смерть!

Это очень недурно сказано. Революционеры охотно рукоплещут таким речам. Но где тот враг, на которого надо «ударить всей силой»? За что именно нужно биться с ним не на живот, а на смерть? В чем состоит «все», которому в горячей проповеди Бранда противостоит «ничего»? Бранд и сам этого не знает. Поэтому, когда толпа кричит ему: «Веди! все мы идем за тобою!», он может предложить им только такую программу действий:

В высь по застывшим  
волнам ледников,  
вниз по долинам, селеньям,  
вдоль-поперек мы всю  
землю пройдем,  
петли, силки все развяжем,  
выпустим души, попавшие в плен,  
их обновим и очистим,  
дряблости, лени сотрем все следы,  
будем воистину — люди,  
пастыри; старый чекан обновим,  
в храм превратим государство!

Посмотрите же, что выходит.

Бранд предлагает своим слушателям порвать цепь компромиссов и энергично взяться за дело. В чем будет состоять это дело? В обновлении и очищении душ, попавших в плен, в стирании с них всех следов дряблости и лени, т. е. в том, чтобы научить всех людей порвать цепь компромиссов. А что будет, когда они порвут эту цепь? Это неизвестно ни Бранду, ни самому Ибсену. Вследствие этого борьба с компромиссами становится сама себе целью, т. е. оказывается бесцельной, а изображение этой борьбы в драме, — путешествие Бранда и следующей за ним толпы «в высь, по застывшим волнам ледников», — выходит не художественным, а, пожалуй, даже и антихудожественным. Не знаю, какое впечатление произвело оно на вас, а меня оно заставило вспомнить о Дон-Кихоте: скептические замечания, делаемые уставшей толпой Бранду, сильно напоминают те замечания, которые Санчо Панса делает своему рыцарственному господину. Но Сервантес смеется, между тем как Ибсен проповедует. Поэтому сравнение оказывается далеко не в пользу этого последнего.

Ибсен привлекателен своим «нравственным беспокойством», своим интересом к вопросам совести, моральным характером своей проповеди. Но его мораль так же отвлеченна, а поэтому так же бессодержательна, как мораль Канта.

Кант говорил, что если ставить логике вопрос, что истинно, и стараться получить от нее ответ на этот вопрос, то выходит смешная картина, похожая на то, как если бы один человек доил козла, а другой — подставлял решето.

По этому поводу Гегель справедливо замечает, с своей стороны, что совершенно такая же смешная картина получается, когда люди ставят чистому практическому разуму вопрос о том, что такое право и долг, и пытаются ответить на него с помощью того же разума.

Кант видел критерий нравственного закона не в содержании, а в форме воли, не в том, чего мы желаем, а в том, как мы желаем. Этот закон лишен всякого содержания.

По словам Гегеля, такой закон «указывает лишь, чего нельзя делать, но не говорит, что следует делать. Он абсолютен не положительно, а отрицательно; он имеет неопределенный или бесконечный характер, тогда как нравственный закон по своему существу должен быть абсолютным и положительным. Поэтому нравственный закон Канта не имеет нравственного характера»<sup>1</sup>.

Точно так же не имеет нравственного характера и нравственный закон, проповедуемый Брандом. Благодаря своей пустоте, он оказывается совершенно бесчеловечным, что хорошо видно, например, в той сцене, где Бранд требует от своей жены, чтобы она рассталась, во имя благотворительности, с тем чепчиком, в котором умер ее ребенок и который она, по ее словам, берегла на своей груди, смочив его своими слезами. И когда Бранд проповедует этот закон, бесчеловечный именно в силу своей бессодержательности, он доит козла, а когда Ибсен представляет нам этот закон в живом образе, он напоминает человека, подставляющего решето и тем желающего помочь доению козла.

Правда, мне могут сказать, что сам Ибсен делает существенную поправку к проповеди своего героя.

Когда Бранд умирает, задавленный лавиной, некий «голос» кричит ему, что бог есть *deus caritatis*<sup>2</sup>. Но эта поправка ровно ничего не изменяет. Несмотря на нее, нравственный закон все-таки остается в глазах Ибсена сам себе целью. И если бы наш художник вывел перед нами героя, проповедующего на тему о милосердии, то его проповедь вышла бы не менее отвлеченной, чем проповедь Бранда. Он явился бы лишь разновидностью одного и того же вида, к которому принадлежит и строитель Сольнес, и скульптор Рубек («Когда мы, мертвые, пробуждаемся»), и Росмер, и даже — странно сказать! — обанкротившийся делец Джон Габриэль Боркман перед смертью.

У всех у них стремление в вышину свидетельствует лишь о том, что Ибсен не знает, куда им следует стремиться. Все они доят козла.

<sup>1</sup> Ср. К у н о Ф и ш е р, История новой философии, т. VIII, Спб., 1902, стр. 279—280.

<sup>2</sup> [бог милосердия].

Мне возразят: «Но это — символы!» — Я отвечу: «Конечно! Весь вопрос в том, почему Ибсен вынужден был прибегать к символам. И это очень интересный вопрос».

«Символизм, — говорит один французский поклонник Ибсена, — есть та форма искусства, которая дает удовлетворение одновременно и нашему желанию изобразить действительность, и нашему желанию выйти из ее пределов. Он дает нам конкретное вместе с абстрактным». Но, во-первых, та форма искусства, которая дает нам конкретное вместе с абстрактным, несовершенна в той самой мере, в какой живой, художественный образ обескровливается и бледнеет вследствие примеси абстракции, а во-вторых, зачем нужна эта примесь абстракции? По смыслу только что приведенной мною цитаты оказывается, что она нужна как средство выйти за пределы действительности. Но за пределы данной действительности, — потому что мы всегда имеем дело только с данной действительностью, — мысль может выйти двумя путями: во-первых, путем символов, ведущих в область абстракции; во-вторых, тем же путем, которым сама действительность, — действительность *н ы н е ш н е г о д н я*, — развивая своими собственными силами свое собственное содержание, выходит за свои пределы, переживая самое себя и создавая основу для *д е й с т в и т е л ь н о с т и б у д у щ е г о*.

История литературы показывает, что человеческая мысль выходит за пределы данной действительности иногда первым путем, иногда вторым. Первым путем она выходит тогда, когда она не умеет понять смысла данной действительности и потому бывает не в силах определить *н а п р а в л е н и е е е р а з в и т и я*; вторым путем она выходит тогда, когда ей удастся разрешить эту подчас очень трудную и даже неразрешимую задачу, и когда она, по прекрасному выражению Гегеля, оказывается в состоянии произнести *в о л ш е б н ы е с л о в а*, *в ы з ы в а ю щ и е о б р а з б у д у щ е г о*. Но способность произнести «волшебные слова» есть признак силы, а неспособность произнести их — признак слабости. И когда в искусстве данного общества обнаруживается стремление к символизму, то это верный признак того, что мысль этого общества, — или мысль того класса общества, который налагает свою печать на искусство, — не умеет проникнуть в смысл совершающегося перед нею общественного развития. Символизм — это нечто вроде свидетельства о бедности. Когда мысль вооружена пониманием действительности, ей нет надобности идти в пустыню символизма.

Говорят, что литература и искусство представляют собою зеркало общественной жизни. Если это справедливо, — а это без малейшего сомнения справедливо, — то ясно, что стремление к символизму, этому свидетельству о бедности общественной мысли, имеет свои причины в том или другом складе общественных отношений, в том или другом ходе общественного развития: общественное сознание определяется общественным бытием.

Каковы могут быть эти причины? Я именно хочу ответить на этот вопрос, поскольку он касается Ибсена. Но прежде я хочу иметь в своем распоряжении достаточно данных, показывающих, что я не был неправ, когда сказал, что Ибсен, подобно своему Бранду, сам не знает, куда должны стремиться люди, решившиеся «порвать цепь компромиссов»; что тот нравственный закон, который он проповедует, лишен всякого определенного содержания.

Посмотрим, каковы были общественные взгляды Ибсена.

Известно, что анархисты считают его своим или почти своим.

Брандес утверждает, что на Ибсена как на представителя анархического учения ссылался один «бомбометатель» в своей защитительной речи перед судом<sup>1</sup>. Я не знаю, какого «бомбометателя» имеет в виду Брандес. Но несколько лет тому назад, присутствуя в женевском театре на представлении «Доктора Стокмана», я сам видел, с каким сочувствием слушала находившаяся там же группа анархистов горячие тирады честного доктора против «компактного большинства» и против всеобщего избирательного права. И надо сознаться, что эти тирады в самом деле напоминают рассуждения анархистов. Напоминают их и многие взгляды самого Ибсена. Припомните, например, как ненавидел Ибсен государство. Он писал Брандесу, что охотно принял бы участие в революции, направленной против этого ненавистного ему учреждения. Или прочтите его стихотворение: «Моему другу, революционному оратору». Из него мы видим, что Ибсен признает заслуживающей сочувствия только одну революцию: всемирный потоп. Но тогда и «чорт был обманут, потому что Ной, как вы знаете, остался господином над волнами». Сделайте *tabula rasa!* — восклицает Ибсен, — и я буду с вами. Это уже совсем по-анархически. Можно подумать, что Ибсен начитался сочинений М. А. Бакунина.

Но не торопитесь на этом основании причислять нашего драматурга к анархистам. Одинаковые речи имели совершенно различный смысл в устах Бакунина, с одной стороны, и в устах Ибсена — с другой. Тот же Ибсен, который говорит, что готов принять участие в революции, направленной против государства, дает очень недвусмысленно понять, что в его глазах форма общественных отношений не имеет значения, а важен лишь «*б у н т ч е л о в е ч е с к о г о д у х а*». В одном из своих писем к Брандесу он говорит, что лучшей политической формой кажется ему наш русский политический строй, потому что этот строй вызывает в людях наиболее сильное стремление к свободе. Выходит, что в интересах человечества нужно было бы увековечить этот строй и что все те, которые стремятся к устранению этого строя, грешат против человеческого духа. М. А. Бакунин, конечно, не согласился бы с этим.

<sup>1</sup> Georg Brandes, Gesammelte Schriften, Deutsche Original-Ausgabe, 4. B., S. 241 [Георг Брандес, Собр. соч., немецкое оригинальное издание, т. IV, стр. 241].

Ибсен признавал, что современное правовое государство имеет некоторые преимущества сравнительно с государством полицейским. Но эти преимущества имеют значение только с точки зрения гражданина, а человеку вовсе нет надобности быть гражданином. Тут Ибсен вплотную подходит к политическому индифферентизму, и неудивительно, что он, враг государства и неутомимый проповедник «бунта человеческого духа», охотно мирится с одним из самых непривлекательных видов государства, какие только знает история: известно, что он искренно сожалел о занятии Рима итальянскими войсками, т. е., стало быть, о падении светской власти пап.

Тот совсем не понимает Ибсена, кто не видит, что «бунт», им проповедуемый, так же бессодержателен, как и нравственный закон Бранда, и что именно этим и объясняются недостатки драматических произведений нашего автора.

Как вредно отзывается бессодержательность ибсеновского «бунта» на характере его художественного творчества, яснее всего показывают именно самые лучшие его драмы. Возьмите хотя бы «Столпы общества». Это — во многих отношениях великолепное произведение. Оно беспощадно и в то же время художественно разоблачает перед нами нравственную гниль и лицемерие буржуазного общества. Но какова его разязка? Самый типичный и закоренелый из бичуемых Ибсеном буржуазных лицемеров, консул Берник, приходит к сознанию своей нравственной гнусности, громкогласно кается в ней чуть ли не перед целым городом и с умилением заявляет о сделанном им открытии, которое состоит в том, что опора общества — это женщины, на что его почтенная родственница госпожа Гессель с трогательной важностью возражает: «Нет, свобода и истина — вот основы общества!»

Если бы мы спросили эту почтенную особу, какой истины она добивается и какой свободы она хочет, то она сказала бы, что свобода состоит в независимости от общественного мнения, а на вопрос об истине она ответила бы, вероятно, указанием на содержание драмы. Консул Берник в молодые годы имел любовную интригу с одной актрисой, а когда муж этой актрисы узнал, что она находится в связи с каким-то господином, и когда дело стало грозить страшным скандалом, тогда его вину взял на себя его друг Иоган Теннисен, который уехал в Америку и на которого он, кстати, возвел обвинение в краже денег. В течение многих лет, прошедших с тех пор, в жизни консула Берника поверх этой основной лжи образовались целые наслоения лжи второстепенной и третьестепенной, что не помешало ему, впрочем, стать одной из «опор общества». Как мы уже знаем, под конец драмы Берник публично кается почти во всех своих грехах, — кое-что он все-таки утаивает, а так как этот неожиданный нравственный переворот совершается в нем отчасти под благотворным влиянием г-жи Гессель, то отсюда видно, какая истина должна, по ее мнению, лечь в основу общества. Если ты шалишь с актрисами, то так и говори, что

в шалости виноват именно ты, а на своих ближних напраслины не возводи. То же и насчет денег: если у тебя никто не крал их, то не надо делать такой вид, как будто они кем-то похищены. Такая правдивость может иногда повредить тебе в общественном мнении, но г-жа Гессель уже сказала тебе, что по отношению к нему нужно быть совершенно независимым. Пусть все последуют этой возвышенной морали, и скоро настанет эра несказанного общественного благополучия.

Гора родила мышь! В этой замечательной драме дух «взбунтовался» только для того, чтобы успокоиться, произнеся одно из самых избитых и скучных общих мест. Едва ли нужно прибавлять, что такое, поистине ребяческое, разрешение драматического конфликта не могло не повредить эстетическому достоинству.

А честнейший доктор Стокман! Он беспомощно путается в целом ряде самых жалких и самых вопиющих противоречий. В 4-м действии, в сцене народного собрания, он «естественно-научно» доказывает, что демократическая печать постыдно лжет, называя народную массу истинным ядром народа. «Толпа есть только сырой материал, из которого мы, лучшие люди, должны создать народ». Очень хорошо! Но откуда же следует, что «вы» — лучшие люди? Вот тут-то и начинается цепь неопровержимых, по мнению доктора, естественно-научных доказательств. В человеческом обществе повторяется то, что мы видим всюду, где есть жизнь. «Посмотрите на обыкновенную крестьянскую курицу. Какое мясо у этого чахлого животного? О нем почти не стоит и говорить! А какие яйца несет такая курица? Всякая мало-мальски уважающая себя ворона несет почти совершенно такие же. Теперь возьмите испанскую или японскую курицу, и вы увидите нечто совсем другое! Далее я позволю себе указать вам на собак, к которым мы, люди, стоим так близко. Представьте себе сначала обыкновенную крестьянскую дворняжку... Потом поставьте рядом с этой дворняжкой пуделя, предки которого в течение нескольких поколений жили в хороших домах, где они слышали гармонические голоса и музыку. Не думаете ли вы, что мозг пуделя гораздо более развит, чем мозг дворняжки? Да, вы можете быть в этом совершенно уверены! Именно таких цивилизованных пуделей фокусники научают выделять удивительнейшие штуки. Дворняжка никогда и ни за что не научилась бы таким штукам».

Я совершенно оставляю в стороне вопрос о том, насколько японская курица, пудель или вообще та или другая разновидность *п р и р у ч е н н ы х* животных может быть отнесена к числу «л у ч ш и х» в животном мире. Я замечу только, что «естественно-научные» доводы нашего доктора побивают его самого. В самом деле, по их смыслу выходит, что к лучшим людям, к руководителям общества могут принадлежать только те, чьи предки в течение многих поколений «жили в хороших домах, где они слышали гармонические голоса и музыку». Я позволяю себе нескромный вопрос: принадлежит ли к числу таких людей сам доктор Сток-

ман? Насчет его предков нет решительно никаких указаний в пьесе Ибсена; но вряд ли Стокману были аристократами. А что касается его собственной жизни, то она была в значительной своей части полною лишений жизнью интеллигента-пролетария. Выходит, что он гораздо лучше сделал бы, если бы оставил предков в покое, как советовал когда-то крыловский мужик своим гусям. Пролетарий-интеллигент силен, — когда силен, — не предками, а теми новыми знаниями и идеями, которые приобретает он сам в течение своей собственной более или менее трудовой жизни.

Но в том-то и дело, что мысли доктора Стокмана и не новы, и несостоятельны. Это — пестрые мысли, как сказал бы покойный Каронин. Наш доктор воюет с «большинством». Из-за чего же возгорелась война?

Из-за того, что «большинство» не хочет предпринять тех радикальных перестроек в водолечебном заведении, которые безусловно необходимы в интересах больных.

Но раз это так, то доктору Стокману легко было бы догадаться, что «большинством»-то в данном случае являются именно больные, стекающиеся в городок со всех сторон, между тем как восстающие против перестроек жители городка играют по отношению к ним роль меньшинства. Если бы он заметил это, — а заметить это, повторяю, было очень легко: это бросалось в глаза, — то он увидел бы, что греметь против «большинства» в данном случае совершенно бессмысленно. Но это еще не все. Из кого состояло в городке то «компактное большинство», с которым пришел в столкновение наш герой? Во-первых, из акционеров водолечебного заведения; во-вторых, из домовладельцев; в-третьих, из газетчиков и типографчиков, держащих нос по ветру, наконец, в-четвертых, из городского плебса, находящегося под влиянием этих трех элементов и потому слепо идущего за ними. Сравнительно с первыми тремя элементами плебс составляет, конечно, большинство в компактном «большинстве». Если бы доктор Стокман обратил на это свое просвещенное внимание, то он сделал бы открытие, гораздо более нужное для него, чем то, которое он делает у Ибсена: он увидел бы, что истинным врагом прогресса является не «большинство», против которого он гремит, к радости анархистов, а лишь неразвитость этого большинства, обусловленная зависимым положением, в котором его держит экономически сильное меньшинство. А так как наш герой говорит анархический вздор не по злой воле, а тоже единственно по неразвитости, то он, сделав это открытие и благодаря ему подвинувшись довольно далеко в своем развитии, стал бы греметь уже не против большинства, а именно против экономически сильного меньшинства. Тогда ему перестали бы, может быть, рукоплескать анархисты; но зато за него была бы тогда истина, которую он всегда любил, но которой он никогда не понимал по причине уже указанной своей неразвитости.

Анархисты недаром рукоплещут доктору Стокману. Его мышление отличается тем же самым недостатком, которым характеризуется их собственный образ мыслей. Наш честный доктор мыслит в высшей степени отвлеченно. Он знает только абстрактную противоположность между истиной и заблуждением; он, толкующий о предках пуделей, не догадывается о том, что сама истина может принадлежать к различным категориям, в зависимости от своего происхождения.

Между нашими крепостниками «эпохи великих реформ», наверно, встречались люди гораздо более просвещенные, чем их «крещеная собственность». Такие люди не думали, конечно, что гром вызывается прогулками по небу пророка Ильи в его колеснице. И если бы речь зашла о причинах грозы, то истина оказалась бы на стороне меньшинства — просвещенных крепостников, а не на стороне большинства — непросвещенной крепостной «черни». Ну, а что было бы, если бы речь зашла о крепостном праве? Было бы то, что большинство — те же непросвещенные крестьяне — высказывалось бы за его отмену, а меньшинство — те же просвещенные крепостники — закричало бы, что отменить его — значит потрясти все самые «священные основы». На чьей же стороне была бы тут истина? Мне сдается, что она была бы не на стороне просвещенного меньшинства. О своем собственном деле человек — или класс, сословие — судит далеко не всегда безошибочно. Тем не менее мы имеем все основания сказать, что когда человек — или сословие, класс — судит о своем собственном деле, то у нас есть несравненно больше шансов услышать правильное суждение об этом деле от этого человека, чем от того, хотя бы и более просвещенного лица, которое заинтересовано в том, чтобы изображать это дело в превратном виде. А если это так, то ясно, что там, где речь заходит об общественных отношениях, — а следовательно, и об интересах различных классов или слоев населения, — было бы величайшим заблуждением думать, что меньшинство всегда право, а большинство всегда заблуждается. Совершенно наоборот. Общественные отношения складывались до сих пор так, что большинство эксплуатировалось меньшинством. Поэтому в интересах меньшинства было исказить истину во всем том, что касалось этого основного факта общественных отношений.

Эксплуатирующее меньшинство не могло не лгать или — так как оно лгало не всегда сознательно, — было лишено возможности не заблуждаться. А эксплуатируемое большинство не могло чувствовать, где, — как выражаются немцы, — башмак жмет ему ногу, и не могло не желать исправления башмака. Иначе сказать, объективная необходимость поворачивала глаза большинства в сторону истины, а глаза меньшинства — в сторону заблуждения. А на этом основном заблуждении эксплуатирующего меньшинства возводилась целая и чрезвычайно сложная надстройка побочных его заблуждений, мешающих ему смотреть истине прямо

в глаза. Вот почему нужна была бы вся наивность доктора Стокмана, чтобы ожидать от этого меньшинства чуткого отношения к истине и бескорыстного служения ей.

## II

«Но эксплуатирующее меньшинство — это вовсе не лучшие люди, — возразил бы мне доктор Стокман. — Лучшие люди это — мы, интеллигенты, живущие своим собственным, а не чужим умственным трудом и неуклонно стремящиеся к истине».

Положим. Но вы, «интеллигенты», не падаете с неба, а представляете собою плоть от плоти и кость от костей породившего вас общественного класса. Вы являетесь идеологом этого класса. Аристотель был самым несомненным «интеллигентом», а между тем он только возводил в теорию взгляды современных ему просвещенных греческих рабовладельцев, когда говорил, что сама природа одних людей осуждает на рабство, а других предназначает к господству.

Какая интеллигенция играла революционную роль в обществе?

Та — и только та, — которая в вопросах, касавшихся общественных отношений, умела встать на сторону эксплуатируемого большинства и отказаться от презрения к толпе, так часто свойственного «интеллигенту».

Когда аббат Сиейс писал свою знаменитую брошюру: «Что такое третье сословие?», в которой он доказывал, что это сословие есть «вся нация за исключением привилегированных», он выступал в качестве передового «интеллигента» и был на стороне угнетенного большинства.

Но тогда он покидал точку зрения отвлеченной противоположности между истиной и заблуждением и становился на почву конкретных общественных отношений.

А наш милый доктор Стокман все выше и выше взбирается в область абстракции и даже не подозревает, что там, где затрагиваются общественные вопросы, к истине надо идти совсем иным путем, чем в вопросах естествознания. По поводу его рассуждений мне вспоминается замечание, сделанное Марксом в первом томе «Капитала», о натуралистах, берущихся без надлежащей методологической подготовки за разрешение общественных вопросов.

Эти люди, мыслящие материалистически в своей специальности, оказываются чистейшими идеалистами в общественной науке.

Чистейшим идеалистом оказывается и Стокман в своих «естественно-научных» рассуждениях о свойствах народной массы. По его словам, он открыл, что масса не может свободно мыслить. Почему же? А вот послушайте, но не забудьте при этом, что для Стокмана свободомыслие значит «почти то же», что и нравственность.

«К счастью, все это лишь старая, традиционная ложь, будто культура деморализует. Нет, деморализует тупость, нищета, безобразие житейских условий. В доме, где не метут, не проветривают ежедневно, — моя жена Катерина утверждает, что нужно даже ежедневно подмывать пол, но об этом еще можно поспорить, — ну, так в таком доме, говорю я, люди в какие-нибудь два-три года теряют способность мыслить и поступать нравственно. От недостатка кислорода и совесть чахнет. И, пожалуй, во многих домах у нас в городе сильная недохватка в кислороде, раз это сплоченное большинство может быть настолько бессовестно, что готово строить свой достаток на трясине лжи и обмана».

Выходит, что если акционеры водолечебного заведения и домовладельцы хотят обманывать больных, — а мы уже знаем, что почин обмана принадлежит именно представителям акционеров, — то это объясняется их бедностью, которая ведет за собою недостаток чистого воздуха в их домах; если наши министры всеми неправдами служат реакции, то это происходит потому, что редко подметается пол в их роскошных казенных квартирах, а если наши пролетарии возмущаются министерскими неправдами, то это вызывается тем, что они вдыхают много кислорода... особенно тогда, когда их выбрасывают из домов на улицу во время безработицы. Здесь доктор Стокман доходит до Геркулесовых столбов в беспредельном мире путаницы понятий. И здесь яснее, чем где-нибудь, обнаруживаются слабые стороны его отвлеченного мышления. Что нищета является источником испорченности и что ошибаются те люди, которые относят испорченность на счет «культуры», это, конечно, совершенно справедливо. Но, во-первых, неправда то, что всякая испорченность объясняется бедностью и что «культура» при всяких обстоятельствах облагораживает людей. Во-вторых, как ни велико развращающее влияние нищеты, однако «недохватка в кислороде» не мешает пролетариату наших дней быть несравненно более отзывчивым, чем все другие общественные классы, по отношению ко всему тому, что в настоящее время является самым передовым, истинным и благородным. Сказать, что данное общество бедно, еще не значит определить, как влияет бедность на его развитие. Недохватка в кислороде всегда будет отрицательной величиной в алгебраической сумме общественного развития. Но если этот недостаток обуславливается не слабостью общественных производительных сил, а общественными отношениями производства, ведущими к тому, что производители бедствуют, между тем как присвоители не знают предела своим прихотям и своему мотовству, — словом, если причина «недохватки» лежит в самом обществе, тогда она, отупляя и развращая некоторые слои населения, порождает революционную мысль и возбуждает революционное чувство в главной его массе, ставя ее в отрицательное отношение к существующему общественному порядку. Это именно то, что мы

видим в капиталистическом обществе, в котором на одном полюсе накапливается богатство, а на другом — бедность, а вместе с бедностью также революционное недовольство своим положением и понимание условий своего освобождения. Но наивный доктор не имеет об этом ни малейшего представления. Он решительно не способен понять, каким образом пролетарий может мыслить и поступать благородно, несмотря на то, что дышит плохим воздухом и что пол в его жилище часто оставляет желать очень многого в смысле чистоты. Вот почему Стокман, не переставая мнить себя самым передовым мыслителем, стоящим «на аванпостах человечества», объявляет в своей речи бессмыслицей то учение, согласно которому масса, чернь, серая толпа составляет ядро общества... «Что рядовые из этой толпы, эти невежественные и неразвитые члены общества, имеют те же права судить-рядить, одобрять, отвергать, ведать, править, как единичные личности, представители умственной аристократии...» И вот почему этот представитель «умственной аристократии» выдвигает как самоновейшее открытие тот вывод, который еще Сократом выдвигался против демократии: «Из каких людей составляется большинство в стране? из умных или глупых? Я думаю, все согласятся, что глупые люди составляют страшное подавляющее большинство на всем земном шаре. Но правильно ли, чтобы глупые управляли умными?» Один из присутствующих на собрании рабочих восклицает при этом: «Долой человека, говорящего такие вещи!» Он искренно принимает Стокмана за врага народа. И он по-своему прав.

Доктор, разумеется, нисколько не желал зла народу, когда требовал коренной перестройки водолечебницы. Совсем нет, в этом случае он был врагом не народа, а его эксплуататоров. Но, вовлеченный в борьбу с этими эксплуататорами, он, по недоразумению, выдвигает против них такие доводы, которые придуманы были людьми, боявшимися господства народа. Он начинает говорить, сам того не желая и не замечая, как враг народа, как защитник политической реакции.

Интересно, что у Бьернсона, во второй части его драмы «Сверх сил», в духе доктора Стокмана высказывается уже настоящий и сознательный «враг народа», эксплуататор по призванию, предприниматель Гольер.

В беседе с Рахилью (во втором акте) он говорит, что мир будет прекрасен только тогда, когда предоставлено будет свободно действовать людям, одаренным умом и волей, и когда перестанут прислушиваться к утопиям и к болезненным фантазиям толпы и массы. «Необходимо вернуться назад (sic! — Г. П.) и предоставить власть только тем, которые имеют мужество и гений. Я не знаю, когда кончится борьба, но что я могу с уверенностью сказать вам, это то, что победит личность, а не масса».

В другом месте, на собрании предпринимателей (в третьем действии), он смеется над рабочими, которые, рассказывая свои, известные вам (т. е. тем же предпринимателям. — Г. П.) истории,

говорят: «Мы — большинство, мы должны иметь власть». Но Гольдер замечает, что насекомые тоже многочисленны. «Нет, милостивые государи, если бы благодаря голосованию или чему-нибудь другому власть оказалась в руках подобного большинства, — большинства, не знающего, что такое порядок, лишеного духа последовательности, привычки к делам, наконец, всех традиций ума и искусства, необходимых для нашей организации, нам оставалось бы сделать только одно: холодно, решительно мы ответили бы им криком: пушки вперед!»

Это по крайней мере ясно и последовательно. Добрейший доктор Стокман, наверно, с величайшим негодованием осудил бы такую последовательность. Он хочет истины, а не кровопролития. Но в том-то и дело, что он сам не понимает истинного смысла своих разглагольствований о всеобщем избирательном праве. Он в своей изумительной наивности воображает, что сторонники этого права хотят решать посредством всеобщего голосования вопросы науки, а не вопросы общественной практики, теснейшим образом связанные с интересами массы и решаемые вопреки этим интересам, если масса не имеет права решать их согласно с ними. Интересно, что этого до сих пор не понимают и анархисты.

Бьернсон даже во вторую эпоху своей литературной деятельности, т. е. когда он отказался от своих прежних религиозных верований и перешел на точку зрения современного естествознания, — далеко не совсем отделался от абстрактного взгляда на общественные вопросы. Но в указанную эпоху он все-таки грешил этим грехом несравненно меньше, чем Ибсен. Хотя этот последний и говорит в одном своем заявлении, относящемся к 1890 году, что он, поскольку позволяли ему его способности и обстоятельства, старался ознакомиться с «социал-демократическими вопросами» и что он только не имел возможности изучать «обширную литературу, относящуюся к различным социалистическим системам»<sup>1</sup>, но по всему видно, что «социал-демократические вопросы» остались совершенно недоступными его пониманию, если не в том, что касается решения тех или других из них в отдельности, то в том, что касается самого метода их решения. По отношению к методу Ибсен всегда оставался идеалистом чистой воды<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Henrik Ibsen. Sämtliche Werke, erster Band, S. 510 [Генрик Ибсен, Собр. соч., т. 1, стр. 510].

<sup>2</sup> Ля Шене говорит об Ибсене («Mercure de France», 15 juin, 1906 [«Меркур де Франс» — «Французский Меркурий», 15 июня 1906]: «он прилагал научный метод с возрастающей строгостью»). Это показывает, что сам Ля Шене относится к вопросу о методе без всякой «строгости». На самом деле, будто бы научный метод Ибсена, совершенно негодный при решении общественных вопросов, был неудовлетворителен даже и в применении к вопросам индивидуального характера. Вот почему врач Нордау мог упрекнуть его во многих грубых ошибках. Впрочем, сам Нордау смотрит на литературные явления слишком отвлеченно.

Уже этим создавалось много шансов ошибки. И это пока еще не все.

Ибсен не только держался идеалистического метода решения общественных вопросов, но в его уме эти вопросы всегда получали слишком узкую формулировку, не соответствующую широкому размаху общественной жизни в современном капиталистическом обществе. И этим окончательно уничтожалась всякая возможность найти правильное решение.

### III

В чем же тут дело? Чем обуславливались эти роковые промахи мысли у человека чрезвычайно даровитого, умного и обладавшего к тому же самой неподдельной и самой сильной жаждой истины?

Все дело тут во влиянии на мирозерцание Ибсена той общественной среды, в которой он родился и вырос.

Виконт де Колльвилль и Ф. Зепелэн. — авторы довольно интересной книги: «Le maître du drame moderne — Ibsen», — очень презрительно относятся к мысли о том, что мирозерцание великого норвежского драматурга сложилось под влиянием «пресловутой среды, дорогой Тэну»<sup>1</sup>. Они думают, что Норвегия «во все не была той средой, в которой развился гений Ибсена»<sup>2</sup>. Но их решительно опровергает материал, собранный в их собственной книге.

Вот, например, они сами говорят, что некоторые драмы Ибсена целиком были «зачаты» им под влиянием воспоминаний своего детства. Разве же это не влияние среды? А кроме того, посмотрите, как они сами характеризуют ту социальную среду, в которой родился, рос и развивался Ибсен. Эта среда, — говорят они, — отличалась «безнадежной банальностью»<sup>3</sup>. Приморский городок Гримстад, в котором протекали юношеские годы Ибсена, выходит в их описании классическим местом пошлости и скуки. «Все источники существования этого городка заключались в его гавани и в его торговле. В подобной среде мысли не поднимаются выше уровня материальной жизни, и если обыватели выходят иногда из дому, то делают это единственно затем, чтобы справиться, когда приходят суда, и заглянуть в биржевой бюллетень... Все знают друг друга. Стена частной жизни прозрачна в подобных отвратительных дырах, как стекло. Богатому человеку все почтительно кланяются, человека зажиточного приветствуют уже не так торопливо, а на поклон рабочего или крестьянина отвечают су-

<sup>1</sup> Introduction, p. 15 [Введение, стр. 15].

<sup>2</sup> Там же, стр. 16.

<sup>3</sup> «Le maître du drame moderne» etc., p. 29 [«Мастер современной драмы» и т. д., стр. 29].

хим кивком головы»<sup>4</sup>. Все делается там до крайности медленно: чего не сделали сегодня, можно сделать завтра. Все уклоняющееся от обычных привычек жизни подвергается строгому прицанию; все оригинальное кажется смешным, все эксцентричное — преступным<sup>5</sup>. А Ибсен уже тогда отличался склонностью к оригинальности и к эксцентричности.

Нетрудно догадаться, как должен был он чувствовать себя среди этих мещан. Они раздражали его; он раздражал их. «Мои друзья, — говорит о себе сам Ибсен в предисловии ко второму изданию «Катилины», — находили меня чудачком; мои враги очень возмущались тем, что человек, занимающий такое низкое общественное положение<sup>6</sup>, позволяет себе судить о вещах, о которых они сами не смеют иметь свое суждение. Я прибавлю, что мое бурное поведение иногда оставляло о б щ е с т в у мало надежды на то, что я когда-нибудь усвою себе буржуазные добродетели... Словом, между тем как мир был взволнован революционной идеей, я находился в открытой войне с тем маленьким обществом, в котором я жил по воле судьбы и обстоятельств».

Не лучше жилось Ибсену и в столице Норвегии, Христиании, где он впоследствии поселился. И в ней пульс общественной жизни бился с безотрадной медленностью. «В начале этого (т. е. XIX.—Г. П.) века, — говорят де Колльвилль и Зепелэн, — Христиания была маленьким городком с шеститысячным населением. С быстротой, напоминающей развитие американских городов, она сделалась городом с населением около 180 000, но сохранила всю свою прежнюю мелочность: в ней продолжали процветать сплетни, пересуды, клевета и низости. В ней превозносили посредственность и не признавали истинного величия. Можно было бы составить целый том из статей, посвященных скандинавскими писателями некрасивым сторонам жизни норвежской столицы»<sup>7</sup>.

Ибсен продолжал задыхаться здесь, как задыхался он в Гримстаде. А когда началась датско-германская война, чаша его терпения переполнилась. На словах норвежцы полны были скандинавского патриотизма и готовы были всем пожертвовать для общего блага трех скандинавских народов. Но на деле они не оказали равно никакой помощи Дании, которая скоро была побеждена своими сильными противниками. В пламенном стихотворении «Брат в беде», написанном в декабре 1863 года, Ибсен заклеил пустую фразеологию скандинавского патриотизма; «и с этих пор, — говорит один из его немецких биографов, — в его сердце закралось презрение к людям»<sup>8</sup>. Во всяком случае он проникся

<sup>1</sup> Introduction, p. 36—37 [Введение, стр. 36—37].

<sup>2</sup> Там же, стр. 37.

<sup>3</sup> Ибсен был в Гримстаде аптекарским учеником.

<sup>4</sup> Introduction, p. 75 [Введение, стр. 75].

<sup>5</sup> Dr Rudolph Lothar, Ibsen, Leipzig—Wien, 1902, p. 58 [Д-р Рудольф Лотар, Ибсен, Лейпциг — Вена, 1902, стр. 58].

полным презрением к своим согражданам. «Тогда отвращение Ибсена дошло до крайней степени, — говорят де Колльвилль и Зепелэн, — он понял, что для него уехать из такой страны стало вопросом жизни и смерти»<sup>1</sup>. Кое-как уладив свои материальные дела, он «отряхнул прах от ног своих» и уехал за границу, где оставался почти до самой своей смерти.

Уже эти немногие данные показывают, что, вопреки нашим французским авторам, общественная среда должна была наложить очень заметную печать на жизнь и на мирозерцание Ибсена, а следовательно, и на его литературные произведения.

Говоря это, я прошу читателя помнить, что влияние всякой данной общественной среды испытывает на себе не только тот, кто уживается с нею, но также и тот, кто объявляет ей войну.

Мне могут возразить: «Однако же вот Ибсен не ужился с той самой средой, с которой прекрасно уживалось огромное большинство его сообщественников». На это я отвечаю, что воевали с этой средой довольно многие норвежские писатели, но что, разумеется, Ибсен вел с нею войну на свой особый, личный лад. Но я ведь и не отрицаю значения личности в истории вообще и в истории литературы в частности. Ведь без личностей не было бы и общества, а значит — не было бы и истории. Когда данная личность протестует против окружающей пошлости и неправды, тут непременно сказываются ее умственные и нравственные особенности: ее проницательность, ее чуткость, ее отзывчивость и т. п. Каждая личность своей особой походкой идет по дороге протеста. Но куда ведет эта дорога, это зависит от общественной среды, окружающей протестующую личность. Характер отрицания определяется характером того, что подвергается отрицанию.

Ибсен родился, вырос и возмужал в мелкобуржуазной среде, и характер его отрицания был, так сказать, предопределен характером этой среды.

К числу отличительных нравственных свойств такой среды принадлежит, — как мы уже видели это, — ненависть ко всему оригинальному, ко всему тому, что хоть немного расходится с установившимися общественными привычками. Еще Милль жаловался когда-то на тиранию общественного мнения. Но Милль был англичанин, а в Англии мелкая буржуазия не имеет господствующего влияния. Чтобы узнать, до чего может доходить тирания общественного мнения, надо пожить в одной из мелкобуржуазных стран Западной Европы. Против этой-то тирании и восстал Ибсен. Мы видели, что двадцатилетним юношей, живя в Гримстаде, он уже воевал с «обществом» и колот его эпиграммами, насмеялся над ним карикатурами.

Сохранилась записная книжка молодого Ибсена, в которой есть рисунок, изображающий «общественное мнение» — своего рода символ. Как вы думаете, читатель, каково

<sup>1</sup> «Le maître...» etc., p. 78 [«Мастер...» и т. д., стр. 78].

содержание этого рисунка? Толстый буржуа, вооруженный кнутом, гонит двух свиней, которые шествуют, бодро задрав вверх хвосты, выющиеся спиралью<sup>1</sup>. Я не скажу, чтобы этот первый опыт Ибсена в области художественного символизма был очень удачен: мысль автора выражена неясно. Но присутствие в рисунке свиней ручается нам за то, что это была во всяком случае до крайности непочтительная мысль.

Беспредельная, всевидящая и мелочная тирания мелкобуржуазного общественного мнения приучает людей к лицемерию, ко лжи, к сделкам со своею совестью; она принижает их характеры, делает их непоследовательными, половинчатыми. И вот Ибсен, поднимающий знамя восстания против этой тирании, выдвигает требование правды во что бы то ни стало и заповедь: «Б у д ь с а м и м с о б о ю». Бранд говорит:

Будь

чем хочешь ты, но будь вполне; будь цельным, не половинчатым, не раздробленным! Вакхант, Силен — понятный, цельный образ, но пьяница — карикатура лишь. Пройдись-ка по стране, людей послушай — узнаешь, что здесь каждый научился быть понемножку всем — и тем, и сем: серьезным в праздники за службой в церкви, упорным — где обычаев коснется таких, как ужинать на сон грядущий, да плотно, как отцы и деды наши! Горячим патриотом на пирах — под звуки песен о скалах родимых и твердом, как скала, народе нашем, не знавшем рабского ярма и палки; натурою широкой, тароватой на обещания за винной чашей; прижимистым при обсуждении трезвом — исполнить их или нет. Но тем или сем лишь понемножку всяк бывает; ни добродетели в нем, ни пороки всего не заполняют «я»; он — дробь и в малом, и в большом, и в злом, и в добром. Всего же хуже то, что убивает любая дробь остаток весь.

Некоторые критики<sup>2</sup> говорят, что «Бранд» был написан Ибсеном под влиянием некоего пастора Ламмерса и особенно под влиянием известного датского писателя Серена Киркегорда. Это вполне возможно. Но это, конечно, нисколько не умаляет справедливости того, что я здесь утверждаю. Пастор Ламмерс и Серен Киркегорд имели дело, каждый в своей области, с такою же средою, с какою боролся Ибсен. Неудивительно, что их протест против этой среды был отчасти подобен его протесту.

<sup>1</sup> Dr Rudolph Lothar, l. c., S. 9 [Д-р Рудольф Лотар, указ. соч., стр. 9].

<sup>2</sup> Там же, стр. 62—63.

Я незнаком с сочинением Серена Киркегорда. Но, насколько я могу судить об его взглядах на основании того, что сообщает о них Лотар, заповедь: «Будь самим собой» вполне могла быть заимствована у С. Киркегорда. Задача человека состоит в том, чтобы быть отдельным лицом, чтобы сосредоточить самого себя в самом себе. Человек должен стать тем, что он есть; его единственная задача заключается в том, чтобы избрать самого себя в «богоугодном самознании», подобно тому, как единственная задача жизни заключается в ее саморазвитии. Истина состоит не в том, чтобы знать истину, а в том, чтобы быть истиной. «Субъективность выше всего» и т. д., и т. д.<sup>1</sup> Все это в самом деле очень похоже на то, что проповедывал Ибсен, и все это доказывает лишний раз, что одинаковые причины вызывают одинаковые следствия.

В мелкобуржуазном обществе лица, «дух» которых склонен к «бунту», не могут не быть редкими исключениями из общего правила. Такие лица часто горделиво называют себя аристократами, и они действительно похожи на аристократов в двух отношениях: во-первых, они выше других в духовном отношении, как настоящие аристократы выше других по своему привилегированному общественному положению; во-вторых, они так же, как настоящие аристократы, стоят уединенно, потому что их интересы не могут быть интересами большинства, а чаще всего враждебно сталкиваются с этими последними. Но разница в том, что настоящая, историческая аристократия в лучшую пору своего развития господствовала над всем тогдашним обществом, между тем как духовные аристократы мелкобуржуазной общественной среды не пользуются почти никаким влиянием на нее. Эти «аристократы» не представляют собою общественной силы: они остаются отдельными личностями. Зато тем усерднее предаются они культуре личности.

Среда вырабатывает из них индивидуалистов, и они, ставши таковыми, делают, по известному французскому выражению, добродетель из необходимости и возводят индивидуализм в принцип, принимая за признак своей личной силы то, что составляет следствие их изолированного положения в мелкобуржуазном обществе.

Борцы против мелкобуржуазной половинчатости, они сами нередко являются надломленными и раздвоенными. Но зато между ними попадаются великолепные экземпляры породы последовательных людей. Таким экземпляром, вероятно, был упоминаемый Лотаром пастор Ламмерс; таким же был, может быть, Серен Киркегорд и таким был, наверно, Ибсен. Он весь без остатка одержим был своим литературным призванием. То, что он писал Брандесу о друзьях, поистине трогательно. «Друзья — слишком дорогая роскошь, и тому, кто весь свой капитал вложил в свое

призвание, в миссию своей жизни, тому не по карману обзаводиться друзьями. Слишком дорого обходятся друзья не в силу того, что делаешь для них, а в силу того, что из-за них отказываешься сделать». Таким путем можно прийти, — как и пришел Гете, — к страшному эгоизму. Но этот путь во всяком случае проходит через полное, всестороннее увлечение своим званием.

И совершенно таким же великолепным экземпляром породы цельных людей был духовный сын Ибсена, Бранд. Когда он гремит против мелкобуржуазной умеренности, против филистерского отделения слова от дела, он прекрасен. Мелкий буржуа и бога создает себе по своему образу и подобию: в очках, в туфлях и в ермолке.

Бранд говорит Эйнору:

О, я не насмехаюсь.  
Такой ведь именно имеет облик  
народный бог наш, бог отцов и дедов.  
Спасителя и ребенка превращают  
католики; вы — бога в старика,  
готового от дряхлости впасть в детство.  
Как у наместника Петра, у папы  
в руках ключи от рая превратились  
в отмычки попросту, так вот у вас  
господне царство сузилось в церковь;  
от веры, от учения господня  
вы отделили жизнь, и в ней никто  
христианином быть уж не берется;  
в теории вы христианство чтите,  
в теории стремитесь к совершенству,  
живите ж по иным совсем заветам.  
И бог такой вам нужен, чтоб сквозь пальцы  
смотрел на вас. Как самый род людской  
он должен был состариться, и можно  
его изобразить в очках и лысым.  
Но этот бог — лишь ваш и твой, не мой!  
Бог мой, он — буря там, где ветер — твой;  
неумолим, где твой лишь равнодушен;  
и милосерд, где твой лишь добродушен.  
Бог мой — он юн; скорее Геркулес,  
чем дедушка. Бог мой — он у Синая,  
как гром, гремел Израилю с небес,  
горел кустом терновым, не сгорая,  
пред Моисеем на горе Хорив,  
остановил бег солнца при Навине  
и чудеса творил бы и поныне,  
не будь весь род людской так туп, ленив!

Устами Бранда Ибсен клеймит мелкобуржуазное лицемерие, мирящееся со злом будто бы во имя любви:

Нет более опозленного слова,  
забрызганного ложью, чем — любовь!  
Им с сатанинской хитростью людишки  
стараятся прикрыть изъязы воли,  
маскировать, что в сущности их жизнь —  
трусливое заигрывание с смертью!

<sup>1</sup> Д-р Рудольф Лотар, указ. соч., стр. 62—63.

Путь труден, крут, — его укоротить велит... любовь! Идем дорогой торной греха — надемся спастись... любовью! Мы видим цель, но — чтоб достичь ее, зачем борьба? Мы победим... любовью! заблудимся, хотя дорогу знаем, — убежище нам все ж даст... любовь!

Тут я от души сочувствую Бранду: как часто ссылаются на любовь противники социализма! Как часто упрекают они социалистов за то, что у тех л ю б о в ь к эксплуатируемому родит н е н а в и с т ь к эксплуататорам! Добрые люди советуют л ю б и т ь всех: и мух, и пауков, и угнетателей, и угнетенных. Ненависть к угнетателям «негуманна». Бранд — т. е. Ибсен — хорошо знает цену этому опошленному слову:

Гуманность — вот бессильное то слово, что стало лозунгом для всей земли. Им, как плащом, ничтожество любое старается прикрыть и неспособность и нежеланье подвиг совершить; любой трусишка им же объясняет боязнь — победы ради всем рискнуть. Прикрывшись этим словом, с легким сердцем свои обеты нарушает всякий, кто в них раскаяться успел трусливо. Пожалуй, скоро по рецепту мелких, ничтожных душ все люди превратятся в апостолов гуманности! А был ли гуманен к сыну сам господь отец? Конечно, если бы распорядился тогда бог ваш, он пощадил бы сына, и дело искупления свелось бы к дипломатической небесной «ноте»!

Все это превосходно. Так рассуждали великие деятели великой французской революции. И здесь сказывается родство духа Ибсена с духом великих революционеров. И все-таки напрасно Р. Думик называет мораль Бранда революционной моралью. Мораль революционеров имеет конкретное содержание, а мораль Бранда — как мы уже знаем — бессодержательная форма. Выше я сказал, что Бранд со своей бессодержательной моралью попадает в смешное положение человека, доящего козла. Скоро я постараюсь социологически объяснить, как попадает он в такое неприятное положение. Но теперь я должен заняться еще некоторыми чертами характера интересующей нас породы общественного человека.

Духовные аристократы мелкобуржуазного общества нередко считают себя избранными людьми, как сказал бы Ницше, сверхчеловеками. А смотря на себя как на избранных людей, они начинают смотреть сверху вниз на «толпу», на массу, на народ. Избранному человеку все позволено.

Это собственно к ним относится заповедь: «Будь самим собой». Для обыкновенных смертных существует другая мораль. Вильгельм Ганс справедливо заметил, что у Ибсена те, которые не имеют никакого призвания, оказываются призванными лишь к тому, чтобы жертвовать собою<sup>1</sup>. Король Скуле говорит в «Борьбе за престол»: «Есть рожденные для того, чтобы жить, и есть люди, рожденные для того, чтобы умереть». Для жизни рождаются именно избранные люди.

Что касается до пренебрежительного взгляда наших аристократов на толпу, то нам нет нужды далеко ходить за примером: мы еще хорошо помним замечательную речь доктора Стокмана.

#### IV

Доктор договаривается до реакционного вздора. И это, разумеется, не делает чести Ибсену, который подсказывает Стокману его речь. Но не надо упускать из виду одно обстоятельство, очень значительно смягчающее вину Ибсена. Норвежский драматург выдвинул своего героя против м е л к о б у р ж у а з н о г о общества, в котором «сплоченное большинство» в самом деле состоит из закоренелых филистеров.

Если в новейшем обществе, — т. е. в развитом капиталистическом обществе с его сильным классовым антагонизмом, — б о л ь ш и н с т в о, состоящее из пролетариев, является единственным классом, способным беззаветно увлекаться всем истинно передовым и благородным, то ведь такой класс совершенно отсутствует в мелкобуржуазном обществе. Там есть, конечно, богатые и бедные, но бедный слой населения поставлен в такие общественные отношения, которые не будят, а усыпляют его мысль и делают его послушным орудием в руках «сплоченного большинства» более или менее богатых, более или менее зажиточных филистеров. В то время, когда складывались воззрения и определялись стремления Ибсена, рабочий класс, в новейшем смысле этого слова, еще не образовался в Норвегии и потому ничем не напоминал о себе в общественной жизни этой страны: неудивительно, что Ибсен не вспомнил о нем, как о прогрессивной общественной силе, сочиняя речь для доктора Стокмана. Для него н а р о д был тем, чем он и на самом деле является в классических странах мелкой буржуазии: совершенно неразвитой массой, погруженной в умственную спячку и отличающейся от ведущих ее за нос «столпов общества» только более грубыми манерами и менее чистыми жилищами.

Я не буду повторять, что Стокман ошибается, объясняя умственную спячку бедного слоя населения в мелкобуржуазном

<sup>1</sup> «Schicksal und Wille», München, 1906, S. 56 [«Судьба и воля», Мюнхен, 1906, стр. 56].

обществе «недохваткой кислорода». Я замечу только, что его ошибочное объяснение стоит в теснейшей причинной связи с его идеалистическим взглядом на общественную жизнь. Когда идеалист, подобный доктору Стокману, рассуждает о развитии общественной мысли и хочет держаться почвы науки, он апеллирует к кислороду, к неметенному полу, к наследственности, — словом, к физиологии и патологии индивидуального организма, но ему и в голову не приходит обратить внимание на общественные отношения, которыми и определяется, в последнем счете, психология всякого данного общества.

Идеалист бытие объясняет сознанием, а не наоборот. И это тоже понятно, по крайней мере там, где речь идет об «избранных личностях» мелкобуржуазного общества. Они так изолированы в окружающей их общественной среде, и эта среда подвигается вперед таким черепашным шагом, что у них нет фактической возможности открыть причинную связь между «ходом идей» и «ходом вещей» в человеческом обществе.

Надо заметить, что в девятнадцатом веке эта связь впервые бросилась в глаза людям науки — историкам и публицистам времен реставрации — главным образом благодаря событиям революционной эпохи, указывавшим на классовую борьбу как на главную причину всего общественного движения<sup>1</sup>. «Духозным аристократам» почти неподвижного мелкобуржуазного общества суждено сделать только то приятное для их самолюбия открытие, что, не будь их, в обществе совсем отсутствовали бы мыслящие люди. Оттого-то они и смотрят на себя как на избранных; оттого-то доктор Стокман называет их «людьми-пуделями».

Но как бы то ни было, а реакционный вздор, закравшийся в речь этого доктора, вовсе не доказывает того, что Ибсен сочувствует политической реакции. Если во Франции и Германии некоторая часть читающей публики принимает его за носителя идей господства привилегированного меньшинства над обездоленным большинством, то к чести великого писателя надо сказать, что это огромная ошибка.

Ибсен вообще был равнодушен к политике, а политиков он, по его собственному признанию, просто ненавидел. Его мышление было аполитическим. И это, можно сказать, — главная отличительная черта его мышления, в свою очередь хорошо объясняющаяся влиянием на него общественной среды, но приводящая его к целому ряду самых мучительных и самых безвыходных противоречий.

Какую политику, каких политиков наблюдал и знал наш автор? Политику и политиков того же мелкобуржуазного общества, в котором он чуть не задохнулся и которое он так жестоко бичевал в своих произведениях. А что такое мелкобуржуазная политика?

<sup>1</sup> Подробнее об этом см. в моем предисловии к моему переводу Манифеста коммунистической партии [Соч., т. XI].

Это — жалкое крохоборство. Что такое мелкобуржуазный политик? Это — мелкий крохобор<sup>1</sup>.

«Передовые» люди мелкой буржуазии выдвигают иногда широкие политические программы, но они отстаивают их вяло и холодно. Они никогда не торопятся; они держатся золотого правила: «поспешай с медленностью». В их сердцах совсем нет места для той благородной страсти, без которой, по прекрасному замечанию Гегеля, не делается ничего великого во всемирной истории. Да им и не нужно страсти, потому что великие исторические подвиги — не их удел. В мелкобуржуазных странах даже широкие политические программы защищаются и побеждают с помощью маленьких средств, так как, благодаря отсутствию резко выраженного классового антагонизма, на пути таких программ не встречается великих социальных препятствий. Политическая свобода покупается здесь по дешевой цене; но зато она здесь и невысока по своему достоинству. Она тоже насквозь пропитывается филистерским духом, который на практике сплошь и рядом идет совершенно вразрез с ее буквой. Страшно узкий во всем, мелкий буржуа страшно узок и в понимании политической свободы.

Стоит только ему увидеть перед собою конфликт, хоть отчасти похожий на те крупные и грозные столкновения, которыми так богата жизнь новейшего капиталистического общества, — и которые, под разлагающим и увлекающим влиянием более развитых стран, случаются теперь подчас и в мелкобуржуазных «затишьях» Западной Европы, — и он позабудет о свободе и завопит о порядке, и самым постыдным образом, без малейшего зазрения совести, примется нарушать на практике ту свободную конституцию, которой он гордится в теории. У мелкобуржуазного филистера здесь, как и везде, слово расходится с делом. Короче — мелкобуржуазная политическая свобода несколько не похожа на могучую и неукротимую красавицу, некогда воспетую Барбье в его «Ямбах». Это скорее — спокойная, ограниченная и мелочная Hausfrau<sup>2</sup>.

Человеку, не довольствующемуся домашней, хотя бы и образцово чистой, ежедневно «подметаемой» прозой, трудно увлечься этой солидной матроной. Он скорее совсем откажется от любви к политической свободе, повернется спиной к политике и станет искать удовлетворения в какой-нибудь другой области.

Именно так и поступил Ибсен. Он утратил всякий интерес к политике, а буржуазных политиков он метко изобразил в «Союзе молодежи» и во «Враге народа».

Замечательно, что еще совсем молодым человеком, живя в Христиании, Ибсен издавал вместе с Боттенем Ганзенем и Осмун-

<sup>1</sup> Говоря это, я имею в виду те страны, где мелкая буржуазия является преобладающим слоем населения. При других общественных условиях мелкая буржуазия может играть и не раз играла революционную роль, но и в этой роли она никогда не была последовательна.

<sup>2</sup> [Хозяйка дома].

дом Олафсоном еженедельный журнал «Manden»<sup>1</sup>, который был в открытой войне не только с консервативной, но и с оппозиционной партией, причем воевал с этой последней не потому, что был умереннее, чем она, а потому, что находил ее недостаточно энергичной<sup>2</sup>.

В этом же журнале Ибсен напечатал свою первую политическую сатиру «Норма», в которой выводится тип политического карьериста, впоследствии так ярко изображенный им в «Союзе молодежи» (Стенгард). Видно, что его и тогда уже болезненно поражала слабость идеальных побуждений в деятельности мелкобуржуазных политиков.

Но и в этой войне с филистерским политиканством Ибсен не переставал «быть самим собою». Г. Лотар говорит, что «политика», которой он придерживался тогда, равно как и впоследствии, имела в виду отдельных людей, отдельных представителей данного направления или данной партии. Она шла от человека к человеку и никогда не была теоретической или догматической<sup>3</sup>. Но политика, интересующаяся только отдельными людьми, а не теми «теориями» или «догматами», которые представляются ими, не имеет в себе ровно ничего политического. Идя «от человека к человеку», мысль Ибсена была частью моральной, частью художественной, но она всегда оставалась а политическою.

Свое отношение к политике и к политикам Ибсен сам очень хорошо характеризует следующими словами: «Мы живем крохами, упавшими со стола революции прошлого века, — писал он в 1870 г., — эта пища уже давно жевана и пережевана. Идеи тоже нуждаются в новой пище и в новом развитии. Свобода, равенство, братство — теперь уже не то, чем были в эпоху покойной гильотины».

«Политики упорствуют в непонимании этого. Вот почему я ненавижу их. Они хотят частичных, совершенно поверхностных политических революций. Пустяки все это. Важен лишь бунт человеческого духа».

Противопоставление политических революций каким-то другим (вероятно, социальным), не ограничивающимся поверхностными частностями, несостоятельно. Французская революция, о которой упоминает здесь Ибсен, была одновременно и политической и социальной. И это приходится сказать обо всяком общественном движении, заслуживающем названия революционного. Но не в этом здесь дело. Важно то, что приведенные мною строки как нельзя лучше объясняют нам отрицательное отношение Ибсена к политикам. Он ненавидит их за то, что они ограничиваются пережевыванием крох, упавших со стола ве-

<sup>1</sup> [Манден].

<sup>2</sup> De Colleville et Zepelin, Le maître du drame moderne, p. 57 [Колльвилль и Зепелэн, Мастер современной драмы, стр. 57].

<sup>3</sup> «Ibsen», S. 24 [«Ибсен», стр. 24].

ликой французской революции; за то, что они не хотят идти вперед; за то, что их взор не проник глубже поверхности общественной жизни. Это как раз то самое, в чем западноевропейские социал-демократы упрекают мелкобуржуазных политиков (политические представители крупной буржуазии на Западе совсем уже не заикаются ни о каких «революциях»). И поскольку Ибсен делает этим политикам эти упреки, постольку он вполне прав и постольку его равнодушие к политикам свидетельствует о благородстве его собственных стремлений и о цельности его собственной натуры. Но он полагает, что и не может быть на свете политиков, не похожих на тех, которые действовали в его мелкобуржуазной стране в ту пору, когда складывались его воззрения. И тут он, конечно, заблуждается; тут его ненависть к политикам свидетельствует только об ограниченности его собственного кругозора. Он забывает, что ведь и деятели великой революции тоже были политиками, что ведь и их богатырские подвиги совершались в области политики.

Заключительным аккордом здесь, как и везде у Ибсена, является «бунт духа» ради «бунта духа», увлечение формой совершенно независимо от содержания.

## V

Я сказал, что при указанных мною условиях отрицательное отношение нашего автора к политике свидетельствовало о благородстве его собственных стремлений. Но оно же и завело его в те безвыходные противоречия, на которые я отчасти уже указал, а отчасти укажу ниже.

Глубочайший трагизм положения Ибсена заключается в том, что этот как нельзя более цельный по своему характеру человек, более всего дороживший последовательностью, был осужден вечно путаться в противоречиях.

«Приходилось ли вам когда-нибудь, — спросил однажды Ибсен, находясь в дружеском кругу, — продумать до конца какую-нибудь мысль, не натолкнувшись на противоречие?»<sup>1</sup>. К сожалению, надо предположить, что самому Ибсену это удавалось крайне редко.

Все течет, все изменяется, каждая вещь носит в себе зародыш своего исчезновения. Такой ход вещей, отражаясь в человеческих головах, обуславливает собою то, что каждое понятие заключает в себе зародыш своего отрицания. Это — естественная диалектика понятий, основанная на естественной диалектике вещей. Она не сбивает людей, владеющих ею, а, напротив, придает их мысли гибкость и последовательность. Но противоречия, в которых запутался Ибсен, не имеют к ней ни малейшего отношения. Они обуслов-

<sup>1</sup> R. Lethaг, l. c., s. 32 [Р. Лотар, указ. соч., стр. 32].

ливаются уже указанным мною аполитическим характером его мысли.

Отвращение Ибсена к пошлости мелкобуржуазной — частной и общественной — жизни заставляло его искать такой области, где хоть немного могла отдохнуть его правдивая и цельная душа. Сначала он находит такую область в народной старине. Романтическая школа заставила его ознакомиться с этой стариной, в которой все было не похоже на пошлую мелкобуржуазную действительность, в которой все было полно дикой мощи и богатырской поэзии.

Могучие предки современных ему филистеров, норвежские викинги, привлекают к себе его творческую фантазию, и он выводит их в нескольких драматических произведениях. Самым замечательным из этих произведений, без сомнения, является «Борьба за престол». Ибсен, что называется, выносил это произведение в своей душе. План его был набросан еще в 1858 г., а написано оно было только в 1863 г. В нем Ибсен хотел, — как замечают де Колльвилль и Зепелэн, — прежде чем уехать из своей страны, «в которой дети викингов стали бедными и эгоистическими буржуа, показать им всю глубину их падения»<sup>1</sup>. А кроме того, «Борьба за престол» интересна своей политической идеей: главный герой этой пьесы, король Гаакон Гаконсен, ведет борьбу за объединение Норвегии. Таким образом, здесь мышление нашего автора перестает быть аполитическим. Но оно не долго остается таковым. Новое время не может жить идеями давно умершей старины. Идеи этой старины не имели никакого практического значения для современников Ибсена. Эти последние любили за стаканом вина вспомнить о своих удачных предках — викингах, а жить продолжали, разумеется, по-новому. Фогт говорит в «Бранде»:

«Великое воспоминание служит залогом роста вперед».

На что Бранд презрительно отвечает ему:

«Да, если с жизнью есть связь живая. Вы ж курган воспоминаний славных превратили в убежище для дряблости душевной».

Таким образом, политические идеи прошлого оказывались бессильными в настоящем, а настоящее не порождало таких политических идей, которые могли бы увлечь Ибсена. Поэтому ему не оставалось ничего другого, как уйти в о б л а с т ь м о р а л и. Он и сделал это. С его точки зрения, — с точки зрения человека, знакомого лишь с мелкобуржуазной политикой и презиравшего эту политику, — естественно должно было казаться, что нравственная проповедь — проповедь абстрактного «очищения воли» — несравненно важнее, чем участие в мелочной, развращающей взаимной борьбе мелкобуржуазных партий, воюющих между собою из-за выеденного яйца и неспособных возвыситься мыслью до чего-нибудь более содержательного, чем выеденное яйцо. Но по-

<sup>1</sup> R. L o t h a r, I. c., s. 216 [Р. Л о т а р, указ. соч., стр. 216].

литическая борьба ведется на почве о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й; нравственная проповедь ставит себе целью усовершенствование о т д е л ь н ы х л и ц. Раз повернувшись спиной к политике и приурочив свои упования к м о р а л и, Ибсен, естественно, встал на точку зрения индивидуализма. А раз перейдя на точку зрения и н д и в и д у а л и з м а, он, естественно, должен был окончательно утратить всякий интерес ко всему тому, что выходит за пределы индивидуального самоусовершенствования. Отсюда его равнодушное и даже враждебное отношение к законам, т. е. к тем обязательным нормам, которые в интересах общества или класса, господствующего в обществе, ставят известные пределы личному усмотрению, и к г о с у д а р с т в у как к источнику этих обязательных н о р м. По словам фру Альфинг в «Привидениях», ей часто приходит на ум, что в «законном порядке» лежит «причина всех бед на земле».

Правда, она говорит это по поводу того замечания пастора Мандерса, что ее брак был законным браком, но она имеет в виду все законы вообще, все «условности», так или иначе связывающие личность. В немецком переводе ее ответ гласит:

O ja, Gesetz und Ordnung! Zuweilen meine ich,  
die stiften in der Welt alles Unheil an.

Это значит: «О, да! Закон и порядок! Иногда мне кажется, что от них-то и идет все зло на земле». И это именно та сторона мирозерцания Ибсена, которая по в н е ш н о с т и сближает его с анархистами.

Мораль ставит себе целью усовершенствование отдельных лиц. Но ее предписания сами коренятся в почве политики, понимая под этим всю совокупность общественных отношений. Человек есть нравственное существо только потому, что он есть, по выражению Аристотеля, существо п о л и т и ч е с к о е.

Робинзону на его необитаемом острове не было нужды в нравственности. Если мораль забывает об этом и не умеет построить мост, который вел бы от нее в область политики, то она попадает в целый ряд противоречий.

Индивидуумы совершенствуют себя, освобождают свой дух и очищают свою волю. Это превосходно. Но их усовершенствование или ведет к изменению взаимных отношений людей в обществе, и тогда мораль переходит в политику, или же оно не касается этих отношений, и тогда скоро начинает топтаться на одном месте; тогда нравственное самоусовершенствование отдельных лиц оказывается само себе целью, т. е. утрачивает всякую практическую цель, и тогда усовершенствованные индивидуумы в своих сношениях с другими людьми уже не имеют надобности справляться с моралью. А это значит, что м о р а л ь у н и ч т о ж а е т тогда сама себя.

Это и случилось с моралью Ибсена. Он твердит: будь самим собою; в этом высший закон, нет греха более тяжкого, чем грех против этого закона. Но ведь и развратный камергер Альвинг в «Привидениях» был самим собою; однако из этого ничего, кроме гнусностей, не вышло. Правда, заповедь «Будь самим собою» относится, как мы уже знаем, только к «героям», а не к «толпе». Но мораль героев также должна иметь какие-нибудь правила, а их мы у Ибсена не находим. Он говорит: «Дело не в том, чтобы хотеть того или другого, а в том, чтобы хотеть того, что человек безусловно должен сделать именно потому, что он остается самим собой и не может иначе. Все прочее ведет только ко лжи». Но беда в том, что и это ведет к самой очевидной лжи.

Весь, неразрешимый, с точки зрения Ибсена, вопрос состоит в том, чего именно данный человек должен хотеть, «оставаясь самим собою». Критерий долженствования заключается не в том, безусловно оно или нет, а в том, куда оно направляется. Всегда оставаться самим собою, не справляясь с интересами других, мог бы только Робинзон на своем острове, да и то лишь до появления Пятницы. Те законы, на которые указывает пастор Мандерс в разговоре с фру Альвинг, действительно представляют собою пустую условность. Но фру Альвинг, т. е. сам Ибсен, жестоко ошибается, воображая, что всякий закон есть не более как пустая и вредная условность. Так, например, закон, ограничивающий эксплуатацию наемного труда капиталом, не вреден, а очень полезен, и мало ли может быть подобных законов? Допустим, что герою все позволено, хотя, разумеется, может быть допущено лишь с самыми существенными оговорками. Но кто же «герой»? Тот, кто служит интересам общего, развитию человечества, — отвечает за Ибсена Вильгельм Ганс<sup>1</sup>. Очень хорошо. Но, говоря это, мы выходим за пределы морали, покидаем точку зрения индивидуума и становимся на точку зрения общества, на точку зрения политики.

Ибсен делает этот переход, — когда он делает его, — совершенно бессознательно; правил для поведения «избранных» он ищет в их собственной, «автономной» воле, а не в общественных отношениях. Поэтому теория героев и толпы принимает у него совсем странный вид. Его герой Стокман, так высоко ценящий свободу мысли, старается убедить толпу в том, что она не должна сметь свое суждение иметь. Это лишь одно из тех многочисленных противоречий, в которых «безусловно должен» был запутаться Ибсен, ограничив свое поле зрения вопросами морали. Раз мы поняли это, нам становится совершенно понятным весь, во всяком случае замечательный, характер Бранда.

Его творец не умел найти выхода из области морали в политику. Поэтому Бранд тоже «безусловно должен» оставаться в пределах морали. Он «безусловно должен» не идти дальше очищения

<sup>1</sup> Р. Лотар, указ. соч., стр. 52—53.

своей воли и освобождения своего духа. Он советует народу «бороться всю жизнь, до самого конца». А в чем конец? в том, что...

Станет ваша воля цельной, сильной...

Это — заколдованный круг. Ибсен не сумел, — да и не мог, по указанным уже мною социологическим причинам, — найти в окружавшей его крайне неприглядной действительности точку опоры для приложения «очищенной» воли, средств для перестройки этой неприглядной действительности, для ее «очищения». Поэтому Бранд «безусловно должен» проповедывать очищение воли ради очищения воли, бунт духа — ради бунта духа.

Далее. Мелкий буржуа — прирожденный оппортунист. Ибсен ненавидит оппортунизм всей душой и чрезвычайно выпукло изображает его в своих произведениях. Достаточно вспомнить хотя бы типографщика Аслаксена (во «Враге народа») с его постоянной проповедью умеренности, которая, по его словам («насколько я, т. е., понимаю»), есть первая добродетель гражданина. Аслаксен — это типичный мелкобуржуазный политик, проникающий даже в рабочие партии мелкобуржуазных стран. И как естественная реакция против «первой добродетели» Аслаксенов является гордый девиз Бранда: все или ничего. Когда Бранд гремит против мелкобуржуазной умеренности, он прекрасен. Но, не находя точки приложения для своей собственной воли, он «безусловно должен» впасть в пустой формализм и крохоборство. Когда его жена Агнес, отдав нищей все вещи своего покойного ребенка, хочет сохранить себе на память чепчик, в котором умер малютка, Бранд восклицает:

Идола богом признала,  
Ну, и служи ему.

Он требует, чтобы Агнес отдала и чепчик. Это было бы смешно, если бы не было жестоко.

Настоящий революционер ни от кого не станет требовать ненужных жертв. Но не станет единственно потому, что у него есть критерий, позволяющий ему отличить нужные жертвы от ненужных. А у Бранда такого критерия нет. Формула: «все или ничего» не может его дать; его надо искать в себе.

Форма убивает у Бранда все содержание. В беседе с Эйнар-ом он, защищаясь от подозрения в догматизме, говорит:

Не новое я нечто замышляю,  
я правду вечную хочу упрочить.  
Не церковь возвеличить я стремлюсь,  
не догматы. Имели день свой первый,  
так, верно, узрят и последний вечер.  
Начало всякое предполагает  
конец, так как конца зародыш все,  
что создано, сотворено, и место  
грядущей форме бытия уступит.  
Но нечто есть, что существует вечно, —  
несотворенный дух, попавший в рабство

весною первой бытия, обретший  
свободу вновь, когда от плоти мост  
он к своему источнику, мост веры  
несокрушимой смело перебросил.  
Теперь дух измельчал, благодаря  
воззрению человечества на бога;  
так вот должно из обрывков душ,  
обломков жалких духа воссоздать  
вновь нечто цельное, чтоб мог узнать  
в нем своего творения венец —  
Адама юного господь творец.

Здесь Бранд рассуждает почти как Мефистофель:

Alles, was entsteht,  
Ist wert, dass es zu Grunde geht<sup>1</sup>.

И вывод у них обоих почти одинаковый. Мефистофель умо-  
заключает:

Drum besser wär's  
Wenn nichts entstünde<sup>2</sup>.

Бранд этого прямо не говорит, но он равнодушен ко всему тому  
что имело первый день и что поэтому узрит когда-нибудь свой по-  
следний вечер. Он дорожит т о л ь к о тем, что существует вечно.  
Но что же вечно существует? Движение. В переводе на теологиче-  
ский — т. е., значит, идеалистический язык Бранда — это значит,  
что вечно существует лишь «несотворенный дух». И вот во имя  
этого вечного духа Бранд поворачивается спиной ко всему «н о -  
в о м у», т. е. в р е м е н н о м у. В конечном счете у него полу-  
чается такое же отрицательное отношение к этому временному,  
как и у Мефистофеля. Но философия Мефистофеля односторонняя.  
Этот Geist, der stets verneint (дух, всегда отрицающий), позабыл,  
что если бы ничто не возникло, то нечего было и отрицать<sup>3</sup>.  
Совершенно так же и Бранд не понимает, что в е ч н о е движение  
(«несотворенный дух») проявляется только в создании в р е м е н -  
н о г о, т. е. н о в о г о: новых вещей, новых состояний и от-  
ношений между вещами. Его равнодушие ко всему новому пре-  
вращает его в к о н с е р в а т о р а, несмотря на его святую нена-  
висть к компромиссу. Диалектике Бранда недостает о т р и ц а -  
н и я о т р и ц а н и я, и это делает ее совершенно бесплодной.

Но почему же недостает ей этого необходимого элемента? Тут  
опять виновата среда, окружавшая Ибсена.

Эта среда была достаточно определена для того, чтобы вы-  
звать в Ибсене отрицательное отношение к ней, но она была недо-  
статочно определена, — потому что слишком неразвита, — для  
того, чтобы породить в нем определенное стремление к чему-ни-

<sup>1</sup> «Все, что возникает, достойно гибели».

<sup>2</sup> «Поэтому было бы лучше, если б ничего не возникало».

<sup>3</sup> Гегель очень хорошо говорит в своей большой «Логике», что «das Dasein ist die erste Negation der Negation», то есть данное бытие есть первое отрицание отрицания.

будь новому. Потому-то у него и не было силы произнести вол-  
шебные слова, способные вызвать образ будущего. Потому-то он и  
заблудился в пустыне безвыходного и бесплодного отрицания.  
М е т о д о л о г и ч е с к а я ошибка Бранда получает, таким  
образом, свое социологическое объяснение.

## VI

Но эта ошибка, тоже унаследованная Брандом от Ибсена, не  
могла не повредить всему творчеству нашего драматурга. Ибсен  
сказал о себе в речи, произнесенной им в «Союзе для защиты жен-  
ского дела»: «Я более поэт и менее социальный философ, чем это  
обыкновенно думают». По другому поводу он заметил, что его на-  
мерением всегда было вызвать в читателе такое впечатление, как  
будто он переживает нечто действительное! И это понятно. Поэт  
думает образами. Но как представить себе в образе «несотворен-  
ный дух»? Тут необходим символ. И вот Ибсен прибегает к сим-  
волам всякий раз, когда заставляет своих героев блуждать во  
славу «несотворенного духа» в области отвлеченного самоусовер-  
шенствования. Но на его символах неизбежно отражается бес-  
плодность их блуждания. Они бледны, в них слишком мало «жи-  
вой жизни»: они — н е д е й с т в и т е л ь н о с т ь, а л и ш ь  
о т д а л е н н ы й намек на нее.

Символы — слабая сторона в творчестве Ибсена. Его сильной  
стороной является бесподобное изображение мелкобуржуазных  
героев. Тут он является несравненным психологом. Изучение  
этой стороны его произведений необходимо для всякого, желаю-  
щего изучить психологию мелкой буржуазии. В этом отношении  
внимательное изучение Ибсена обязательно для всякого социоло-  
га<sup>1</sup>. Но как только мелкий буржуа начинает «очищать свою  
волю», он превращается в назидательно скучную отвлеченность.  
Таков консул Берник в последней сцене «Столпов общества».

<sup>1</sup> Одна из самых интересных черт мелкобуржуазной психологии заме-  
чается у нашего хорошего знакомого, доктора Стокмана. Он не нарадуется на  
дешевый комфорт своей квартиры и на сытость своего недавно приобретенного  
положения. Он говорит своему брату бургомистру:

— Да, да, можешь себе, я думаю, представить, что нам-таки туго при-  
ходилось там (на старом месте. — Г. П.). А теперь живем, как помещики!  
Сегодня, например, у нас за обедом был ростбиф. Еще и на ужин осталось.  
Не отвезешь ли кусочек? Или дай хоть показать тебе его... Поди сюда!

Бургомистр. Нет, нет, ни в коем случае...

Доктор Стокман. Ну, так иди сюда. Видишь, мы обзавелись  
новой скатертью.

Бургомистр. Да, заметил.

Доктор Стокман. И абакуром. Видишь, все Катерина сэкономила.

И т. д., и т. д.

Когда мелкий буржуа решается на самоотвержение, эти абакур и рост-  
бифы занимают видное место в ряду вещей, принесенных им на алтарь идеи.  
Ибсен хорошо подметил это.

Ибсен и сам не знал, да и не мог знать, что предпринять ему со своими отвлеченностями. Поэтому он или опускает занавес тотчас после их просветления, или же губит их где-нибудь на высокой горе от обвала. Это напоминает, как Тургенев уморил Базарова и Инсарова, не зная, что именно можно было предпринять с ними. Но у Тургенева это сживание со света своих героев вызывалось незнанием того, как действовали русские нигилисты и болгарские революционеры. А у Ибсена дело было в том, что и нечего было делать людям, занимающимся самоочищением ради самоочищения.

Гора рождает мышь. Это часто случается в драмах Ибсена. И не только в драмах, а и во всем его миросозерцании. Взять хоть бы «женский вопрос». Когда Гельмер говорит Норе, что она — прежде всего жена и мать, та отвечает:

«Я в это больше не верю. Я думаю, что прежде всего я человек или по крайней мере должна постараться стать человеком». Она не признает браком обычного «законного» сожительства мужчины с женщиной. Она стремится к тому, что у нас называлось когда-то эмансипацией женщины. К этому стремится, повидимому, и «дочь моря» Эллида. Она хочет свободы во что бы то ни стало. Когда муж предоставляет ей свободу, она отказывается следовать за «неизвестным», к которому ее прежде так тянуло, и говорит мужу:

«Ты был для меня хорошим врачом. Ты нашел и отважился применить единственно верное средство, единственное, которое могло помочь мне».

Наконец, даже фру Майя Рубек («Когда мы, мертвые, пробуждаемся») не довольствуется тесными пределами семейной жизни. Она упрекает своего мужа в том, что он не исполнил своего обещания взять ее с собой на высокую гору и показать ей все царства мира и славу их. Окончательно разорвав с ним, она, «ликуя», поет:

Конец моей прежней неволе,  
Я вольная птица теперь,  
На воле, на воле, на воле.

Словом, Ибсен стоит за освобождение женщины. Но здесь, как и везде, его интересует психологический процесс освобождения, а не его социальные последствия, не то, как отразится оно на общественном положении женщины. Важно освобождение, а по общественному положению женщина пусть остается тем же, чем была до сих пор.

В речи, произнесенной им в «Союзе для защиты дела женщины» 26 мая 1898 года, Ибсен признается, что ему непонятно, что это такое — «дело женщины». Дело женщины есть дело человека. Ибсен всегда стремится «поднять народ на более высокую ступень», и решить эту задачу призваны, по его словам, особенно женщины. Именно матери посредством упорной и медленной работы возбуждают в народе стремление к культуре и чувство дисципли-

ны. Это необходимо предварительно сделать для того, чтобы поднять народ на более высокую ступень. А сделав это, женщины решают вопрос человека. Словом, ради «дела человека» женщины должны ограничить свой горизонт пределами детской комнаты. Ясно ли это?

Женщина — мать. Так. А мужчина — отец. Однако это не мешает ему выходить из детской. Освобожденная женщина удовольствуется ролью матери, как довольствовалась ею женщина, никогда не задумывавшаяся о свободе. Да это и несущественно. Важно вечное, а не временное. Важно движение, а не его результаты. «Бунт человеческого духа» оставляет все на старом месте. Огромная гора опять разрешается маленькой мышкой, благодаря той методологической ошибке, для которой указано было мною социологическое объяснение.

А любовь — любовь между мужчиной и женщиной? Еще Фурье с огромным сатирическим талантом указывал на то, что буржуазное общество — цивилизация, как выражался он, — безжалостно топчет любовь в грязи денежного расчета. Ибсен знал это не хуже Фурье. Его «Комедия любви» представляет собою превосходнейшую сатиру, которая до последней степени зло осмеивает буржуазный брак и буржуазные семейные добродетели. Но какова развязка этой замечательной пьесы, одной из самых лучших пьес Ибсена? Девушка Свангильд, любящая поэта Фальку, выходит замуж за негодяя Гульдстада и делает это именно во имя своей возвышенной любви к Фальку. Между ней и Фальком происходит по этому поводу следующий невероятный, но весьма характерный для миросозерцания Ибсена разговор:

Фальк. ...Расстаться нам с тобой,  
когда так ярок, чист свод неба голубой,  
когда открыт нам мир восторгов, упоенья  
и чар весны, когда союз наш молодой  
сегодня только получил крещение?!

Свангильд. Как раз поэтому. Стоим мы на вершине,  
и шествию победному — отныне  
путь под гору лежит. Но в страшный день суда  
к ответу может нас призвать судья наш строгий,  
и горе, если на вопрос творца — куда  
девали дар его, — ответим, что дорогой  
утерян нами дар любви святой!

Фальк. Взгляд я понял твой.  
На этом лишь пути тебя догнать могу я!  
Как душу к жизни вечной тела смерть ведет,  
так и любовь бессмертье обретет  
тогда лишь, как желаний плотских сбросит гнет  
и отлетит в родной духовный мир, минуя,  
воспоминаньем чистым став! — Кольцо долой!

Свангильд (в восторженном порыве).  
Так сделала теперь свое я дело —  
зажгла в тебе огонь поэзии живой!  
Лети! Взвился к победе соколиной,  
а Свангильд — песню лебединую пропела.  
(Снимает с пальца кольцо и целует его.)

До дня кончины мира в глубине морской  
лежи, моя мечта, — я твердою рукою  
тебя похороню.

(Делает несколько шагов к Фиорду, забрасывает кольцо в воду,  
возвращается к Фальку с просветленным лицом.)

Для жизни скоротечной  
тебя утратила — и обрела для вечной.

Это — полное торжество вечного, «несотворенного» духа, и в то же время, — и именно по этой же причине, — это полное самоотречение, самоуничтожение «нового», временного. Победа «очищенной» воли равносильна полнейшему ее поражению и торжеству того, к отрицанию чего она стремилась. Поэтический Фальк уступает честь и место прозаическому Гульдстаду. В борьбе с буржуазной пошлостью герои Ибсена оказывались всего слабее именно тогда, когда их «очищенная» воля обнаруживала наибольшую силу. «Комедия любви» могла бы быть названа «Комедией автономной воли».

## VII

Недавно, в известной парижской газете «L'Humanité», т. Жан Лонгэ назвал Ибсена социалистом. Но в том-то и дело, что Ибсен был так же далек от социализма, как и от всякого другого учения, имеющего общественную подкладку. В доказательство я сошлюсь на речь, произнесенную Ибсеном в дронтеймском рабочем союзе 14 июня 1885 года.

В этой речи маститый драматург описывает впечатления, полученные им при возвращении на родину после многолетней жизни за границей. Он увидел много отрадного, но испытал и некоторые разочарования. Он с сожалением убедился в том, что необходимые личные права еще не пользуются в его стране надлежащим законодательным признанием. Правящее большинство произвольно ограничивает свободу совести и речи. С этой стороны остается еще много сделать, но нынешняя демократия<sup>1</sup> не будет в состоянии решить эту задачу. Чтобы она могла быть решена, в правительство, в государственную жизнь, в печать и в народное представительство должен быть предварительно внесен элемент благородства. «Говоря это, — поясняет Ибсен, — я думаю, конечно, не о дворянском благородстве, не о благородстве денежной аристократии, не о благородстве знания и даже не о благородстве способности, дарования. Я имею в виду благородство характера, благородство воли и настроения. Только такое благородство осво-

<sup>1</sup> Слово «нынешняя» подчеркнуто в печатном тексте речи. Henrik Ibsens, Sämtliche Werke, erster Band, S. 525 [Генрих Ибсен, Собр. соч., т. I, стр. 525].

бодит нас». И это благородство придет, по его словам, с двух сторон: «со стороны женщин и со стороны рабочих».

Это в высшей степени интересно. Во-первых, «правящее большинство», которым недоволен Ибсен, приводит на память то «сплоченное большинство», с которым воевал доктор Стокман. Оно тоже навлекает на себя упрек в отсутствии уважения к правам личности вообще, — в частности к свободе совести и слова. Но, в противность Стокману, Ибсен не говорит, что «недохватка кислорода» осуждает человека из «массы» на отупение. Нет, рабочий класс является здесь одной из тех двух общественных групп, от которых Ибсен ждет обновления общественной жизни Норвегии. Это как нельзя лучше подтверждает сказанное мною выше о том, что Ибсен вовсе не был сознательным противником рабочего класса. Когда он задумывается о нем как об особой составной части «толпы», — что случилось с ним в Дронтейме, но что случалось с ним вообще крайне редко, — он как будто уже не довольствуется «доением козла», освобождением ради освобождения, «бунтом духа» ради «бунта духа», а указывает на определенную политическую задачу: расширение и упрочение индивидуальных прав. Но каким путем следует идти к решению этой задачи, которая, кстати сказать, должна быть отнесена к числу «частичных революций», так резко осужденных Ибсеном? Казалось бы, что путь этот должен вести через политическую область. Но в политической области Ибсен всегда чувствует себя слишком неуютно. Он спешит уйти в несравненно более привычную и привлекательную для него область морали: он ждет всего лучшего от внесения в политическую жизнь Норвегии «элемента благородства». Это уже совсем туманно. Здесь как будто говорит его художественное детище, Иоганн Росмер, который тоже задается целью сделать всех людей в стране «благородными людьми» («Росмерсгольм», первое действие). Росмер надеется достигнуть этой возвышенной цели, «освободив дух» людей и «очистив их волю». И это, разумеется, похвально. Свободный дух и чистая воля весьма желательны. Но политики здесь нет ни одной капли. А без политики нет и социализма.

Заметьте: в том, что Ибсен говорил дронтеймским рабочим о «благородстве», была большая доля правды. Его чутье поэта, не выносившего мелкобуржуазной умеренности, опошляющей даже благороднейшие движения души, не обмануло его, указав ему на рабочих, как на тот общественный элемент, который внесет в общественную жизнь Норвегии недостающий ей элемент благородства. Энергично стремясь к своей великой «конечной цели», пролетариат в самом деле освобождает свой дух и очистит свою волю. Но Ибсен извращал действительное отношение вещей. Чтобы в пролетариате произошло это нравственное перерождение, ему необходимо предварительно поставить перед собою эту великую цель: иначе он не выйдет из мелкобуржуазной трясины, несмотря ни на какие нравственные проповеди. Благород-

ный дух энтузиазма вносят в рабочую среду не Росмеры, а Марксы и Лассали.

Нравственно «освобождение» пролетариата будет достигнуто лишь посредством его социальной освободительной борьбы. «В начале было дело», говорит Фауст. Но этого-то и не понимал Ибсен.

Правда, в дронтеймской речи есть одно место, которое, по-видимому, подтверждает мысль Жана Лонгэ. Вот оно:

«Преобразование общественных отношений, подготовляющееся теперь там, в Европе, занимается главным образом вопросом о будущем положении рабочего и женщины. Я жду этого преобразования, я уповаю на него, и я хочу и буду действовать на его пользу всеми силами в течение всей моей жизни». Здесь Ибсен как будто выступает убежденным социалистом. Но, во-первых, это место страдает крайней неопределенностью. Я уже не говорю о том, что нельзя отделять так называемый женский вопрос от так называемого рабочего вопроса. Но Ибсен ни одного слова не говорит о том, как сам он представляет себе будущее «положение рабочего». А это показывает, что ему совсем не ясна конечная цель «преобразования общественных отношений». Ожидание благородства от женщины не помешало Ибсену запереть ее в детской. Откуда же видно, что ожидание благородства от рабочих привело его к сознанию того, что рабочий должен избавиться от ига капитала? Это ниоткуда не видно; а из речи, произнесенной Ибсеном перед «Союзом для защиты женского дела», видно, наоборот, что «преобразовать общественные отношения» на его языке значило только «поднять народ на более высокую ступень». Социализм ли это?<sup>1</sup>

У Ибсена выходит, что сначала надо облагородить народ, а потом поднять его на более высокую ступень. По существу эта формула тождественна с пресловутой формулой наших блаженной памяти крепостников: «сначала просветить народ, а потом освободить его». Повторяю еще раз: в Ибсене не было ровно ничего крепостнического. Он совсем не враг народного освобождения. Он даже, пожалуй, согласен работать на пользу народа. Но как это сделать? Как за это взяться? Это ему совершенно неизвестно. А неизвестно ему это потому, что в мелкобуржуазном обществе, в котором он рос и с которым он вел жестокую войну впоследствии, не было и не могло быть данных не только для правильного решения, но даже и для правильной постановки таких вопросов, как рабочий или женский.

Жан Лонгэ ошибся. Его ввело в ошибку уже упомянутое мною выше заявление, сделанное Ибсеном в 1890 г. по поводу газетных

<sup>1</sup> Удивительно, что Брандес, все-таки знакомый с социалистической литературой, нашел в дронтеймской речи выражение «скрытого социализма» Ибсена (G. Brandes, *Gesammelte Schriften*, München, 1902, B. I, S. 42; статья: «Henrik Ibsen und seine Schule in Deutschland» [Г. Брандес, Собр. соч., Мюнхен, 1902, т. I, стр. 42; «Генрик Ибсен и его школа в Германии»]). Впрочем, Брандес видит «скрытый» социализм даже в «Столпах общества». На это нужно много доброй воли.

толков, вызванных лекциями Бернарда Шоу на тему: Ибсен и социализм.

В этом заявлении наш автор утверждает, что он старался, по-скольку ему позволяли случай и способности, «изучить социал-демократические вопросы», хотя «никогда не имел времени для изучения великой, обширной литературы, занимающейся различными социалистическими системами»<sup>1</sup>. Но, как я уже заметил, по всему видно, что и на «социал-демократические вопросы» Ибсен взглянул с своей обычной, т. е. с исключительно моральной, а не с политической точки зрения.

Как плохо понял он современное движение пролетариата, видно из того, что он совсем не выяснил себе великого исторического значения Парижской коммуны 1871 года; он объявил ее карикатурой на его собственную общественную теорию, между тем как в его голове для общественных теорий вовсе не было места.

## VIII

На похоронах Ибсена один из его поклонников назвал его Моисеем. Это едва ли удачное сравнение.

Ибсен, может быть, как никто другой из современных ему деятелей всемирной литературы, способен был вывести читателя из Египта филистерства. Но он не знал, где лежит обетованная земля, и даже думал, что и не надо никакой обетованной земли, потому что все дело во внутреннем освобождении человека. Этот Моисей осужден был на безвыходное блуждание в пустыне абстракции. Это было для него огромным несчастьем. Он сказал о себе, что его жизнь была «длинной, длинной страстной неделей»<sup>2</sup>. Этому нельзя не поверить. Для его искренней и цельной натуры вечное блуждание в лабиринте неразрешимых вопросов должно было стать источником невыносимых страданий.

Этим своим несчастьем он был обязан неразвитости норвежской общественной жизни. Неприглядная мелкобуржуазная действительность показала ему, чего надо чуждаться, но не могла показать, куда следует идти<sup>3</sup>.

Правда, покинув Норвегию, отряхнув от ног своих прах буржуазной пошлости и поселившись за границей, он имел

<sup>1</sup> Соч. Ибсена, т. I, стр. 510. — Ред.

<sup>2</sup> В речи, произнесенной на банкете в Стокгольме 13 апреля 1898 г. (Ibsen's... Werke, B. I, S. 534) [Соч. Ибсена, т. I, стр. 534].

<sup>3</sup> С пролетарской политикой в Норвегии дело до сих пор обстоит довольно плохо. После нелавного отделения этой страны от Швеции, когда возник вопрос: республика или монархия? — некоторые из ее социал-демократов в мыслях закрепились за монархию. Это было по меньшей мере изумительно.

— Правда ли это? — спросил я известного шведского социал-демократа Брантинга. — К сожалению, это правда, — отвечал он. — Да зачем они это сделали?! — Чтобы не отстать от нас, шведов, у которых есть король, — отвечал Брантинг с тонкой улыбкой. Вот так социал-демократы! Таких вряд ли можно найти еще где-нибудь на земном шаре.

полную внешнюю возможность найти тот путь, который ведет к действительному возвышению человеческого духа и к действительной победе над пошлым мещанством. В тогдашней Германии уже неслось неудержимым потоком освободительное движение рабочего класса, то движение, о котором даже враги его говорят, что оно одно способно породить теперь неподдельный и высокий нравственный идеализм. Но у Ибсена уже не было внутренней возможности ознакомиться с этим движением. Его пылкий ум был слишком поглощен теми задачами, которые поставила перед ним общественная жизнь его родины и которые оставались неразрешимыми для него именно потому, что эта жизнь, задав их ему, еще не выработала из самой себя посылок, необходимых для их решения<sup>1</sup>.

Ибсена называли пессимистом. И он в самом деле был им. Но в своем положении и при своем серьезном отношении к мучившим его вопросам он решительно не мог стать оптимистом. Он стал бы оптимистом только тогда, когда ему удалось бы разгадать загадку сфинкса нашего времени, а это не было суждено ему.

Он сам говорил, что одним из основных мотивов его творчества была противоположность между желанием и возможностью. Он мог бы сказать, что это был основной мотив его творчества и что именно здесь лежит разгадка его пессимизма. И эта противоположность была, в свою очередь, продуктом среды. В мелкобуржуазном обществе «люди-пудели» могут иметь очень широкие замыслы. Но «совершить» им «ничего не дано» по той простой причине, что для их воли нет никакой объективной опоры.

Говорят также, что культом Ибсена был культ индивидуализма. Это тоже верно. Но этот культ возник у него единственно потому, что его мораль не нашла себе выхода в политику. И это было проявлением не силы его личности, а той слабости ее, которой он обязан был воспитавшей его общественной среде. Судите после этого о глубокомыслии Ля Шенэ, который, в своей, цитированной мною выше, статье в «*Mercure de France*», утверждает, что для Ибсена было большим счастьем родиться в такой маленькой стране, «где ему, правда, трудно приходилось вначале, но где по крайней мере ни одно усилие его не могло остаться незамеченным, потому что в массе других изданий». Это, так сказать, точка зрения ли-

<sup>1</sup> В интересах точности прибавлю, что влияние более развитых стран сказалось на Ибсене еще до отъезда его за границу. Еще живя в Христиании, с энтузиазмом писал он о венгерской революции и даже одно время стал сближаться с людьми, зараженными социализмом. Можно сказать поэтому, что не норвежская жизнь, а иностранные влияния научили его тому, от чего нужно было отвернуться. Но эти влияния были во всяком случае не настолько сильны, чтобы привить ему прочный политический интерес. О Венгрии он скоро позабыл, а с людьми, зараженными социализмом, скоро разошелся, вспомнив о них, может быть, только в момент составления своей дронтеймской речи.

тературной конкуренции. С какой презрительной иронией отнесся бы к ней сам Ибсен!

Де Колльвилль и Зепелэн справедливо называют Ибсена мастером новейшей драмы. Но если дело, согласно слову, мастера боится, то оно отражает на себе в то же время и все его слабости.

Слабость Ибсена, состоявшая в неумении найти выход из морали в политику, «безусловно должна» была отразиться на его произведениях внесением в них элемента символизма и рассудочности, если хотите — тенденциозности. Она обескровила некоторые его художественные образы, причем пострадали именно его «идеальные люди», «люди-пудели». Вот почему я и говорю, что как драматург он оказался бы ниже Шекспира, даже если бы имел его талант. В высшей степени интересно выяснить себе, как и почему этот несомненный огромный недостаток его произведений мог быть принят читающей публикой за их достоинство. Ведь на это также должна быть своя общественная причина.

Но место не позволяет мне говорить здесь об этом. Я разберу этот вопрос впоследствии, когда коснусь также другого, тесно с ним связанного вопроса о том, каким образом мастером драмы в современной всемирной литературе мог сделаться представитель одной из самых неразвитых европейских стран. Брандес справедливо замечает<sup>1</sup>, что одним талантом Ибсена его успех за границей объяснить нельзя, хотя объяснение, даваемое самим Брандесом, из рук вон плохо.

Ну, да об этом после.

## IX<sup>2</sup>

Какая же причина? Чтобы найти ее, нужно предварительно выяснить себе социально-психологические условия успеха Ибсена в тех странах Запада, в которых развитие общественно-экономических отношений достигло несравненно более высокой ступени, нежели в Скандинавии.

Брандес говорит: «Чтобы добиться признания за пределами своей страны, недостаточно одной силы таланта. Кроме таланта, должна еще быть налицо восприимчивость к нему. Среди своих земляков выдающийся ум либо сам медленно создает эту восприимчивость, либо чутко прощупывает и использует настроения, которые уже существуют или назревают. Но Ибсен не мог создать

<sup>1</sup> См. его упомянутую выше статью «*Henrick Ibsen und seine Schule in Deutschland*» [«Генрик Ибсен и его школа в Германии»].

<sup>2</sup> Указание Г. В. Плеханова:

(Для переводчика). Эта новая, IX глава начинается непосредственно после слов: «Ведь на это должна быть своя общественная причина» (на стр. 64-й русского текста брошюры, строка 5 и 6 сверху); те же строки, которые следуют за указанными словами (см. выше на этой странице.—Ред.), должны быть зачеркнуты и заменены нижеследующей рукописью.

эту восприимчивость среди иноязычных кругов, ничего не знавших о нем, и даже там, где он как будто предчувствовал что-то назревающее, он вначале не нашел никакого отклика».

Это совершенно справедливо. Одного таланта в таких случаях не бывает достаточно. Жители средневекового Рима не только не увлекались художественными произведениями античного мира, но подвергали древние статуи обжиганию для получения из них известки. А потом настало другое время, когда римляне и вообще итальянцы начали увлекаться античным искусством и брать его себе за образец. В то долгое время, в течение которого жители Рима — да не одного только Рима — так варварски расправлялись с великими произведениями античной скульптуры, во внутренней жизни средневекового общества медленно совершался процесс, глубоко изменивший его строение, а вследствие этого также и взгляды, чувства и вкусы людей, входивших в его состав. Изменения бытия (*des Seins*) повели за собою изменения сознания (*des Bewusstseins*), и только эти последние изменения сделали римлян эпохи Возрождения способными наслаждаться произведениями античного искусства, — вернее сказать, только эти последние изменения и сделали возможным само Возрождение.

Вообще, чтобы художник или писатель данной страны приобрел влияние на умы жителей других стран, необходимо, чтобы настроение этого писателя или художника соответствовало настроению тех иностранцев, которые читают его произведения. Отсюда следует, что если влияние Ибсена распространилось далеко за пределы его родины, то это значит, что в его произведениях были такие черты, которые соответствовали настроению читающей публики современного цивилизованного мира. Какие же это черты?

Брандес указывает на индивидуализм Ибсена, на его презрительное отношение к большинству. Он говорит: «Первый шаг к свободе и величию заключается в том, чтобы иметь индивидуальность. У кого ее мало, тот только обломок человека, у кого ее совсем нет, тот — нуль. Но только нули равны между собою. В современной Германии снова находят приверженцев слова Леонардо да Винчи: «По своему содержанию и ценности все нули мира равны одному единственному нулю». Лишь здесь достигается идеал равенства. А в мыслящих кругах Германии не верят в идеал равенства. Генрик Ибсен тоже не верит в него. В Германии многие придерживаются того мнения, что вслед за эпохой веры в большинство наступит эпоха веры в меньшинство, и Ибсен из тех, кто верит в меньшинство. Наконец многие утверждают, что путь к прогрессу ведет через изоляцию личности. Эту мысль разделяет и Генрик Ибсен».

Здесь опять Брандес отчасти прав. Так называемые мыслящие круги Германии (*denkende Kreise Deutschlands*) действительно совсем не расположены ни к «идеалу равенства», ни к «вере в меньшинство». Факт этого нерасположения верно указан Бран-

десом. Но он ошибочно объясняется им. В самом деле, у него выходит, что стремление к идеалу равенства несовместимо со стремлением к развитию личности и что именно по этой причине «мыслящие круги Германии» отворачиваются от названного идеала. Но это неверно. Кто решится утверждать, что «мыслящие круги» Франции накануне Великой революции менее дорожили интересами «личности», нежели те же круги современной нам Германии? А между тем тогдашние «мыслящие» французы несравненно благосклоннее относились к идее равенства, нежели нынешние немцы. Большинство (*Majorität*) тоже пугало этих французов несравненно меньше, нежели оно пугает нынешних «мыслящих» немцев. Никто не усомнится в том, что аббат Сиейс и его единомышленники принадлежали к «мыслящим» французским кругам того времени, а между тем у Сиейса главным доводом в пользу интересов третьего сословия служило именно то обстоятельство, что они были интересами большинства, расхоронившимися лишь с интересами небольшой кучки привилегированных. Значит, дело тут вовсе не в свойствах самого идеала равенства или самой идеи большинства, а в тех исторических условиях, при которых «мыслящим кругам» данной страны приходится иметь дело с этими идеями. Мыслящие круги Франции XVIII в. стояли на точке зрения более или менее революционной буржуазии, которая в своей оппозиции против духовной и светской аристократии созначала себя солидарной с огромной массой населения, т. е. с «большинством». Нынешние же «мыслящие круги Германии» — и не только Германии, а и всех тех стран, в которых вполне установился капиталистический способ производства, — держатся в огромнейшем большинстве случаев точки зрения буржуазии, понявшей, что ее классовые интересы ближе к интересам аристократии, — которая, впрочем, тоже вполне прониклась теперь буржуазным духом, — нежели к интересам пролетариата, составляющего большинство населения передовых капиталистических стран. Поэтому «вера в большинство» (*Majoritätsglauben*) вызывает в этих кругах неприятные представления; поэтому она кажется им несовместимой с идеей «личности»; поэтому в них все более проникает «вера в меньшинство» (*Minoritätsglauben*). Революционная буржуазия Франции XVIII века рукоплескала Руссо, которого она, впрочем, тогда не вполне понимала; нынешняя буржуазная Германия рукоплещет Ницше, в котором она верным классовым инстинктом сразу почувствовала поэта-идеолога классового господства.

Но как бы то ни было, а несомненно то, что индивидуализм Ибсена действительно соответствует той «вере в меньшинство», которая свойственна буржуазным «мыслящим кругам» современного капиталистического мира. В письме к Брандесу от 24 сентября 1871 г. Ибсен говорит: «Больше всего я вам желаю здорового

эгоизма, который заставил бы вас считать все принадлежащее вам единственно имеющим действительную ценность и важность, а все остальное несуществующим». Настроение, выразившееся в этих строках, не только не противоречит настроению «мыслящего» буржуа нашего времени, но совершенно совпадает с ним. И точно так же совпадает с ним настроение, продиктовавшее следующие строки того же письма: «Я никогда не понимал хорошенько солидарности. Я принял ее как традиционный догмат. Если бы мы имели мужество совершенно отбросить ее, то избавились бы от тягчайшего бремени, стесняющего индивидуальность». Наконец всякий «мыслящий», проникнутый классовым сознанием буржуа (Klassenbewusstsein) не будет в состоянии отнестись иначе, как с величайшей симпатией, к человеку, написавшему вот эти слова: «Я не думаю, чтобы в других странах дело обстояло лучше, чем у нас. Повсюду высшие интересы чужды массе».

Более 10 лет спустя Ибсен в письме к тому же Брандесу говорил: «Я ни в коем случае не мог бы принадлежать к партии, которая имела бы за себя большинство. Бьернсон говорит: «Большинство всегда право». А я говорю: «Меньшинство всегда право». Такие слова опять могут вызвать только одобрение со стороны «индивидуалистически» настроенных идеологов нынешней буржуазии. А так как настроение, выразившееся в этих словах, окрашивало собой все драматические произведения Ибсена, то неудивительно, что сочинения эти привлекли к себе внимание идеологов этого рода, что эти последние оказались «восприимчивы» (empfänglich) для них.

Правда, недаром сказано было еще античными римлянами, что, когда двое говорят одно и то же, то это не одно и то же (non est idem). У Ибсена со словом «меньшинство» связывалось совсем другое представление, нежели у буржуазной читающей публики передовых капиталистических стран. Ибсен оговаривается: «Я подразумеваю то меньшинство, которое идет вперед, оставляя большинство позади. Я считаю, что прав тот, кто больше находится в согласии с будущим». Стремления и взгляды Ибсена сложились, как мы уже знаем, в такой стране, где не было революционного пролетариата и где отсталая народная масса сама была мелкобуржуазна до мозга костей. Эта масса в самом деле не могла стать носительницей передового идеала. Поэтому всякое движение вперед необходимо должно было представляться Ибсену в виде движения «меньшинства», т. е. небольшой кучки мыслящих индивидуумов. Не так было в странах развитого капиталистического производства. Там движение вперед очевидно должно было сделаться, или, вернее, очевидно должно было стремиться сделать движение эксплуатируемого большинства. У людей, воспитывающихся в тех общественных условиях, при которых воспитывался Ибсен, «вера в меньшинство» имеет совершенно невинный характер. Более того: она служит выражением прогрессивных стремлений небольшого интеллигент-

ного оазиса, окруженного безводной пустыней филистерства. Напротив, в «мыслящих кругах» передовых капиталистических стран эта вера знаменует собой консервативное сопротивление революционным требованиям рабочей массы. Когда двое говорят одно и то же, это не одно и то же. И когда двое имеют «веру в меньшинство», это опять не одно и то же. Но когда один человек проповедует «веру в меньшинство» (Minoritätsglauben), то его проповедь может и должна встретить сочувствие со стороны другого человека, разделяющего ту же веру, хотя бы он разделял ее по совершенно другим психологическим причинам. Так было с Ибсеном. Его резким, глубоко прочувствованным нападкам на «большинство» рукоплескали многие и многие из тех, которым «большинство» представлялось прежде всего в виде пролетариата, стремящегося к своему освобождению. Ибсен нападал на то «большинство», которому были чужды всякие прогрессивные стремления, а ему сочувствовали те, которые боялись прогрессивных стремлений большинства.

Пойдем дальше. Брандес продолжает: «Если, однако, мы исследуем глубже этот (т. е. ибсеновский. — Г. П.) индивидуализм, то лишь откроем в нем затаенный социализм, который чувствуется уже в «Столпах общества» и который проявился во вдохновенном ответе дронтгеймским рабочим во время последнего пребывания Ибсена на севере»\*.

Как я уже заметил выше, нужно много доброй воли для того, чтобы открыть социализм в «Столпах общества». На самом деле социализм Ибсена сводился к доброму, но весьма и весьма неопределенному желанию «поднять народ на более высокую ступень». Но и это не только не мешало, а, напротив, очень много способствовало успеху Ибсена в «мыслящих кругах Германии» и других капиталистических стран. Если бы Ибсен в самом деле был социалистом, то ему не могли бы сочувствовать те люди, у которых «вера в меньшинство» порождена была страхом перед революционным движением «большинства». Но именно потому, что «социализм» Ибсена означал не более, как желание «поднять народ на высшую ступень», он мог и должен был нравиться тем, которые готовы схватиться за социальную реформу как за средство предотвращения социальной революции. Тут происходило *qui pro quo*, совершенно подобное тому, которое имело место по отношению к «вере в меньшинство». Ибсен не шел дальше стремления «поднять народ на более высокую ступень» по той причине, что его взгляды сложились под влиянием мелкобуржуазного общества, процесс развития которого еще не выдвинул на сцену великой социалистической задачи, но эта ограниченность стремлений Ибсена обеспечивала ему успех в высшем классе («в мыслящих кругах») тех обществ, вся внутренняя жизнь которых определяется теперь наличностью этой великой задачи.

Надо напомнить, впрочем, что в драматических произведениях Ибсена почти совсем не дают себя чувствовать даже и его

весьма ограниченные реформаторские стремления. В них его мысль остается аполитической в широком смысле этого слова, т. е. чуждой общественных вопросов. Он проповедует в них «очищение воли», «бунт человеческого духа», но он не знает, какую цель должна поставить себе «очищенная воля», против каких общественных отношений должен бороться «взбунтовавшийся» человеческий дух. Это опять огромный недостаток; но и этот огромный недостаток — подобно двум указанным выше — должен был очень сильно способствовать успеху Ибсена в «мыслящих кругах» капиталистического мира. Эти круги могли сочувствовать «бунту человеческого духа» только до тех пор, пока он совершался ради бунта, т. е. оставался бесцельным, т. е. не угрожал существованию общественному порядку. «Мыслящие круги» буржуазного класса могли с величайшим сочувствием внимать Бранду, обещавшему:

Ввысь по застывшим  
волнам ледников,  
вниз по долинам, селеньям,  
вдоль — поперек мы всю  
землю пройдем,  
петли, силки все развяжем,  
выпустим души, попавшие в плен,  
их обновим и очистим...

Но если бы тот же Бранд дал понять, что он обновляет и очищает души не только за тем, чтобы заставить их прогуливаться по застывшим волнам ледников, а также за тем, чтобы побудить их к совершению какого-нибудь определенного революционного действия, то «мыслящие круги» с ужасом увидели бы в нем «демагога» и объявили бы Ибсена «тендециозным писателем». И тут уже Ибсену не помог бы его талант: тут ясно обнаружилось бы, что «мыслящие круги» не обладают той восприимчивостью, которая необходима для сочувствия таланту.

Теперь ясно, почему слабость Ибсена, состоявшая в неумении найти выход из морали в политику и отразившаяся на его произведениях внесением в них элемента символизма и расщепленности, не только не вредила, но была полезна ему во мнении большей части читающей публики. «Идеальные люди», «люди-пудели», являются у Ибсена неясными, почти совершенно бескровными образами. Но это-то и нужно было для их успеха во мнении «мыслящих кругов» буржуазии: эти круги могут сочувствовать только таким «идеальным людям», которые обнаруживают лишь неясное, неопределенное стремление «ввысь» и отнюдь не грешат серьезным стремлением «здесь на земле уже воздвигнуть небесное царство».

Такова психология «мыслящих кругов» буржуазии нашего времени, психология, объясняемая, как мы видим, социологией. Эта психология положила свою печать на все современное нам искусство. В ней надо искать разгадки

того, что символизм пользуется теперь таким широким успехом. Неизбежная неясность создаваемых символистами художественных образов соответствует неизбежной туманности практически совершенно бессильных стремлений, зарождающихся в тех «мыслящих кругах» современного общества, которые даже в моменты самого сильного своего недовольства окружающей действительностью не могут подняться до ее революционного отрицания.

Таким образом, создаваемое современной нам борьбой классов настроение «мыслящих кругов» буржуазии по необходимости обесцвечивает современное искусство. Тут самый капитализм, который в области производства является препятствием для употребления в дело всех тех производительных сил, которыми располагает современное человечество, является тормозом также и в области художественного творчества.

А пролетариат? Его экономическое положение не таково, чтоб он мог теперь много заниматься искусством. Но поскольку «мыслящие круги» пролетариата занимались им, постольку они, разумеется, должны были стать в определенные отношения к нашему автору.

Сознавая указанные недостатки мышления и творчества Ибсена и понимая происхождение этих недостатков, «мыслящие круги» пролетариата не могут не любить его как человека, глубоко ненавидевшего мелкобуржуазный оппортунизм, и как художника, пролившего такой яркий свет на психологию этого оппортунизма. Ведь «бунт человеческого духа», выражающийся теперь в революционных стремлениях пролетариата, является, между прочим, и восстанием против той мелкобуржуазной пошлости, против той «дряблости душевной», против которой гремел Ибсен устами своего Бранда.

Мы видим, стало быть, что Ибсен представляет собой парадоксальный пример художника, едва ли не в одинаковой мере, хотя и по противоположным причинам, заслуживающего симпатии «мыслящих кругов» двух великих, непримиримо враждебных друг другу классов современного общества. Таким художником мог явиться только человек, развившийся при обстановке, очень мало похожей на ту, при которой совершается великая классовая борьба нашего времени.

## СЫН ДОКТОРА СТОКМАНА<sup>1</sup>

### I

Я, к сожалению, не могу читать Гамсуна в подлиннике. А перевод, имеющийся у меня под руками, не безупречен. Переводчик, г. Я. Данилин, точно иностранец, хорошо овладевший русским языком, но не усвоивший всех его тонкостей. У него попадают выражения вроде: «ты ведь не обидишься, если я тебе что-нибудь скажу?» (стр. 156). Между тем по ходу действия очевидно, что лицо, произносящее эту фразу (Иервен), хочет сказать не «ч т о н и б у д ь», а н е ч т о весьма определенное: «тебе нужны деньги», говорит он и т. д. Поэтому надо было переводить не «что-нибудь скажу», а — «что-то скажу». Это большая разница. Да и само действующее лицо, употребляющее благодаря переводчику указанное мною неправильное выражение, называется, если я не ошибаюсь, неправильно: его имя следовало бы писать не «И е р в е н», а просто «Е р в е н». Наше «е» есть иотированное «е» языков Западной Европы. Подобно этому у нас неправильно пишут И е к к (немецкий автор истории Интернационала), а не Е к к. Другое действующее лицо драмы (журналист Бондзена) восклицает: «Ради бога, только не теперь. Только не теперь. Потому что тогда я не сумею больше с вами говорить» (стр. 59). Но опять-таки очевидно, что Бондзена боится не того, что он не сумеет, т. е. лишится умения, говорить, а того, что он лишен будет возможности воспользоваться своим умением. Таким же языком выражается и главное действующее лицо пьесы (писатель Ивар Карено). У него выходит (т. е. выходит в переводе г. Данилина), что если осень будет теплая, то он «сумеет работать в саду» (стр. 81). Но и тут ясно, что холодная осень лишила бы Карено н е у м е н ь я работать в саду, а только в о з м о ж н о с т и воспользоваться этим умением. Это — конечно, мелочи. Но это очень досадные мелочи. Зачем портить наш могучий и богатый русский

<sup>1</sup> К н у т Г а м с у н, «У царских врат», пьеса в 4-х действиях, перевод Я. Данилина, Москва, книгоиздательство «Заря».

язык неуклюжими провинциализмами? Кроме того, в пьесе немало опечаток. Это тоже мелочь, и тоже очень досадная мелочь.

Существует, кажется, другой перевод той же пьесы, но у меня его нет. Поэтому воспользуюсь переводом г. Я. Данилина.

В пьесе Гамсуна, собственно две драмы: одна — частного, другая — общественного характера. Одна написана на очень старую, но вечно новую тему; для другой взята тема совсем новая, но от этой новой темы веет бессильным старчеством, подлинным декадентством. В первой обнаруживается свойственный Гамсуну большой художественный талант; вторая производит комическое впечатление, несмотря на старание автора придать действию трагический характер. Короче, первая драма удалась автору, вторая же должна быть признана до последней степени неудачной.

Я не буду долго останавливаться на первой, т. е. на удачной драме. Я уже сказал, что ее тема очень стара, хотя и остается вечно новой. Молодая, неразвитая и, может быть, даже ограниченная, но во всяком случае морально вполне здоровая женщина, фру Элина Карено, любит своего мужа, кандидата философии Ивара Карено, который платит ей не то что полным равнодушием, а очень обидным и мучительным для нее невниманием. В глубине души у него есть любовь к ней, но ему некогда заниматься любовью. Он пишет сочинение, которое, как он думает, нанесет жестокий удар очень многим и очень вредным предрассудкам. И он целиком ушел в свою работу. Фру Карено жалуется Бондзене: «Он не думает обо мне, он не думает и о себе тоже, а только о своей работе. Так уж целых три года. Но он говорит, что три года — это пустяки, даже и десять лет, по его мнению, недолгий срок. Я и подумала, если он так себя ведет, значит он меня больше не любит. Я его никогда не вижу; ночью он сидит за своим столом и работает до рассвета. Все это так ужасно! У меня все перепуталось в голове» (стр. 76). И у нее в голове действительно все перепуталось. На каждом шагу обижаемая невниманием мужа, она терзается в догадках насчет причин этого невнимания и делается некстати ревнивой. Она ревнует мужа не только к своей служанке, Ингеборг, которую он, по необходимости, видит часто, но и к невесте его товарища Иервена, фрекен Натали Ховинд, с которой он встречается в первый раз в жизни и которая обменивается с ним несколькими совершенно незначительными фразами. Наконец бедная фру Карено начинает хитрить. Она хочет возбудить ревность своего мужа и для этого кокетничает с журналистом Бондзеном. Но Карено даже не замечает ее проделки. Тогда она усиливает дозу кокетства и... попадает в свою собственную сеть: влюбляется в ничтожного и вульгарного Бондзена. Карено открывает глаза на поведение своей жены только тогда, когда положение становится непоправимым. Тут он сам делает несколько попыток спастись от нависшего над ним несчастья, но это ни к чему не ведет. Жена уезжает от него к своим родителям в сопровождении Бондзена, и этим заканчивается первая драма.

Я сказал, что в этой драме обнаруживается свойственный Гамсуну большой художественный талант. В подтверждение этого моего отзыва достаточно указать на ту тонкость, с которой очерчены душевные движения фру Карено. Характер этой несчастной женщины — в полном смысле слова мастерское создание. Не хуже ее изображен и увлекший ее Бондezen. Немногими чертами Гамсун чрезвычайно рельефно изобразил беспринципного писаку, готового продавать себя по столько-то за газетную строчку. Да что Бондezen! Что фру Карено! Ремесленник, набивающий чучела птиц, — совершенно эпизодическое лицо в пьесе, а между тем и он представляет собою пластический образ. Словом, первая драма как нельзя лучше подтверждает старое правило: дело мастера боится.

Почему же не подтверждает его вторая драма? Разве она вышла не из-под пера того же выдающегося мастера?

Чтобы ответить на это, нужно познакомиться с писателем Иваром Карено, который является главным действующим лицом второй драмы, подобно тому, как его жена играет главную роль в первой.

Я сказал, что он пишет книгу, имеющую, по его мнению, огромную важность. Я выразился недостаточно сильно. Сам Карено выражается несравненно сильнее. Вот пример: «Сегодня ночью, когда я писал, — говорит он своей жене в 3-м действии, — мысли толпились у меня в мозгу. Ты этому не поверишь, но я разрешил все вопросы, я постиг бытие, я почувствовал прилив великих сил» (стр. 70). Для разрешения «всех вопросов» в самом деле нужны великие силы. Но в каком же направлении разрешает все вопросы Ивар Карено? Он не всегда достаточно ясно выражается на этот счет. Вот пример. Сообщив своей жене о том, что ему удалось постичь бытие, он прибавляет: «Мне казалось ночью, что я один, одинок на земле. Между людьми и внешним миром стоит стена, но теперь эта стена стала тонкой, и я попытаюсь сломать ее, высунуть голову и поглядеть» (стр. 70—71). Это очень туманно. Странно притом, что человек, уже разрешивший все вопросы, все-таки считает нужным ломать стену, высовывать голову и глядеть. Зачем это? Когда все вопросы разрешены, тогда «глядеть» уже не на что и тогда можно отдохнуть. Но в том же разговоре Карено со своею женою есть более определенный намек на его взгляды. Карено называет себя человеком, который стучится к людям «со своими свободными, как птица, мыслями». Выходит, что разломав стену и высунув голову, наш герой видит идеал свободы. Это уже не так туманно. Но все-таки свободу можно принимать различно. Как о содержании свободных мыслей Ивара Карено? О нем дает очень ясное понятие следующая длинная тирада:

«Смотри, — говорит он жене, развертывая перед нею свою рукопись, — все это о господстве большинства, и я ниспровергаю его. Это — учение для англичан, пишу я, евангелие, которое предлагается на рынке, проповедуется на лондонских доках, о том, как

привести посредственность к власти и праву. Вот, это — о сопротивлении, это — о ненависти, это — о мести, этические силы, которые теперь в упадке. Обо всем этом я писал. Нет, послушай немного внимательнее, Элина, — и ты поймешь. Это — вопрос о вечном мире. Все находят, что вечный мир был бы прекрасною вещью, а я говорю, что это учение, достойное телячьего мозга, который его выдумал. Да. Я осмеиваю вечный мир из-за его наглого пренебрежения к гордости. Пусть явится война, нечего заботиться о том, чтобы сохранить столько-то и столько-то жизней: источник жизни бездонен и неистощим; важно только, чтобы люди бодро шли вперед. Смотри, вот это — главная статья о либерализме. Я не издаю либерализма, я нападаю на него от глубины души. Но этого не понимают. Англичане и профессор Гиллинг — это либералы, а я не либерал, и одно только это и понимают. Я не верю в либерализм, я не верю в выборы, я не верю в народное представительство. Все это я здесь и высказал (ч и т а е т): «Этот либерализм, который ввел снова старый, неестественный обман, будто толпа людей в два аршина вышиной может сама выбрать себе вождя в три аршина вышиной...» Ты сама понимаешь; так постоянно происходит... Смотри! Вот это заключение. Здесь, на этих развалинах, я возвел новое здание, гордый замок, Элина. Я сам отомстил за себя. Я верю в прирожденного властелина, в деспота по природе, в повелителя, в того, кто не выбирается, но сам становится вождем кочующих орд этой земли. Я верю и надеюсь только на одно — на возвращение величайшего террориста, квинт-эссенцию человека, Цезаря...» (стр. 106—107).

Мы скоро увидим, чего хочет профессор Гиллинг, против которого ополчается Карено. Теперь же заметим, что «свободные мысли» нашего героя сводятся к борьбе против власти большинства. Это — основной мотив его сочинения. И в этом смысле он — родной сын ибсеновского доктора Стокмана. Но его образ мыслей гораздо более конкретен, нежели образ мыслей доброго доктора. Начать с того, что Стокман говорит о большинстве собственно по недоразумению, так как его борьба на самом деле ведется против меньшинства (т. е. акционерной компании, эксплуатирующей тот курорт, в котором он состоит врачом) в интересах большинства (т. е. больных, приезжающих и могущих приехать в курорт). И его рассуждения достигают своей кульминационной точки там, где он доказывает, что всякая истина должна со временем составить и уступить свое место другой, новой истине<sup>1</sup>. Правда, до-

<sup>1</sup> Доктор Стокман. «Да, да хотите — верьте, хотите — нет. Но истины вовсе не такие живучие Мафусаилы, как люди воображают. Нормальная истина живет — скажем — ну, лет семнадцать — восемнадцать, самое большое — двадцать. Но такие пожилые истины всегда ужасно худосочны. И все-таки большинство именно тогда только и начинает заниматься ими и рекомендовать их обществу в качестве здоровой духовной пищи. Но такая пища малопитательна, могу вас уверить; как врач, я в этом знаю толк. Все эти истины, признанные большинством, похожи на прошлогоднее копченое мясо, на про-

казывая это «с помощью естествознания», он делает несколько очень неудачных экскурсий в области общественных отношений<sup>1</sup>. Но эти неудачные экскурсии остаются только экскурсиями. Не ими определяется практическая программа доктора Стокмана. Да и не видно у него такой программы. А вот его сын, Ивар Карено, говорит о борьбе с большинством уже не по недоразумению, а в силу продуманного убеждения. И у него есть определенная практическая программа. Он не только «не верит в либерализм» и не только не щадит его; он не верит также в выборы, не верит в народное представительство и не хочет их. Он «верит» в д е с п о т и з м, он хочет возвращения величайшего террориста, который представляется ему квинт-эссенцией человека. Видите, какой «с в о б о д ь» хочет наш герой? Свободы деспота. Разломав стену и высунув голову, он увидел предстоящее возвращение «величайшего террориста», подчиняющего большинство своей железной воле. И для того чтобы облегчить его возвращение, он ведет соответствующую нравственную проповедь. Он проповедует «ненависть», «месть» и «гордость» — не ту гордость, которая не позволяет человеку быть рабом, а ту, которая выражается в стремлении иметь рабов или по крайней мере содействовать тому, чтобы в таковых не было недостатка у «величайшего террориста» и «деспота». Неудивительно поэтому, что добрый Карено называет идею мира «учением, достойным телячьего мозга, который его выдумал». Стоит ли заботиться о том, чтобы «сохранить столько-то и столько-то жизней»? «Важно только то, чтобы люди бодро шли вперед», т. е., очевидно, не отказывались идти на убой, когда «величайший террорист» и «деспот» найдет нужным предпринять кровопускание. Все это кажется достаточно определенным. Однако неопределенность не совсем еще отсутствует в этой тираде. В ее первых строках большинство называется, как мы видели, п о с р е д с т в е н н о с т ь ю, и это выражение все еще сообщает речи Ивара Карено привкус того беспредметного идеализма, которым были насквозь пропитаны речи его отца, доктора Стокмана. В других местах этот привкус совсем пропадает. В статье, по поводу которой у него происходит интересный разговор с профессором Гиллингом, он осуждает, как нелепость, «современное гуманное обращение с рабочими» и пишет: «Рабочие только что перестали быть растительной силой, и их положение в качестве необходимого

горькие испорченные, заплесневевшие окорока. От них и делается нравственная цинга, свирепствующая повсюду в общественной жизни» (Генрик Ибсен, «Враг народа», Соч., т. V, стр. 402).

<sup>1</sup> «Представьте себе сначала простую дворнягу, т. е. паршивого, ободранного,дохматого мужицкого пса, который только рыщет по улицам да пакостит стены домов. И поставьте этого пса рядом с пуделем, длинный ряд предков которого воспитывался в аристократических домах, где они получали тонкую отборную пищу и имели случай слышать гармоничные голоса и музыку. Или, по-вашему, череп пуделя не совсем иначе развит, нежели череп простого пса? Уж будьте уверены». (Там же, стр. 405) Это один из ярких примеров того изложения, который говорится доктором Стокманом «с помощью естествознания».

класса уничтожено... Когда они были рабами, у них была своя функция: они работали. Теперь же вместо них работают машины при помощи пара, электричества, воды и ветра. Рабочие вследствие этого становятся все более излишним классом на земле. Раб стал рабочим, а рабочий паразитом, который отныне живет на свете без всякого назначения. И этих людей, потерявших даже положение необходимых членов общества, государство стремится возвысить в политическую партию. Господа, говорящие о гуманности, вы не должны ласкать рабочих; вы должны скорее охранять нас от их существования, помешать им усиливаться, вы должны истребить их» (стр. 21).

Истребить рабочих! Таков тот определенный вид, который принимает у Ивара Карено наследованная им от своего отца, доктора Стокмана, и весьма неопределенная прежде задача борьбы с «большинством». Для решения этой вполне определенной (я не сказал: р а з р е ш и м о й) задачи Карено начинает выработать даже то, что называется у социалистов программой-минимум. Правда, в эту программу он вписал пока только один пункт, но зато этот пункт как нельзя более характерен. Карено рекомендует высокие хлебные пошлины, чтобы оградить крестьянина, который должен жить, и заставить умереть с голоду рабочего, который должен погибнуть. От этой практической программы уже и не пахнет беспредметным идеализмом; напротив, она проникнута духом своеобразного «экономического материализма». И она не оставляет уже ровно никакого сомнения насчет содержания «свободных мыслей» Карено: это типичный реакционер.

Доктора Стокмана называли, как известно, врагом народа. Это было несправедливо. Врагом народа д-р Стокман никогда не был, хотя в своей борьбе с тем, что называлось у него большинством, он, по своей крайней неловкости и беспомощности в вопросах общественного характера, выражался иногда так, как выражаются действительные враги народа: присвоители прибавочного продукта или прибавочной стоимости. Не то с сыном доктора Стокмана, Иваром Карено. Он выражается как враг народа вовсе не по недоразумению. Он в самом деле — враг народа, т. е. враг того класса, который играет главную роль в производительном процессе новейшего общества. «Конечная цель», которую он ставит себе в своей борьбе с пролетариатом, разумеется, нелепа в полном смысле этого слова. «Истребить рабочих» невозможно. Если Карено поставил себе такую цель, то это показывает, что он разбирается в общественных вопросах по меньшей мере так же плохо, как разбирался в них его папенька Стокман. Но нелепая «конечная цель» не мешает ему иметь определенную практическую программу. В политике он реакционер, в экономике протекционист, и притом протекционист опять-таки с сознательной реакционной целью. Он надеется, что протекционизм поможет ему «истребить» пролетария и оградить крестьянина, который, по его словам, должен жить. Он хочет опереться на противоположность

интересов крестьянства, с одной стороны, и пролетариата — с другой. Но поскольку крестьянство сознает противоположность своих интересов с интересами пролетариата и поскольку оно руководствуется этим сознанием в своей социально-политической деятельности, постольку оно стремится, по известному выражению знаменитого «Манифеста», повернуть назад колесо истории. И кто эксплуатирует это его стремление ради возвращения «величайшего террориста», тот даже не простой реакционер, а злостный: реакционер в квадрате. Таким злостным реакционером, реакционером в квадрате, и выступает перед нами упрямый проповедник «свободных мыслей», Ивар Карено. Нельзя не видеть, как далеко ушел он от своего родителя. Но нельзя также не видеть, что он унаследовал от него наиболее существенные фамильные черты.

## II

Доктор Стокман гремит на том роковом народном собрании, на котором он показывает, что у него очень много доброй воли и очень мало знаний:

«Большинство никогда не бывает право. Никогда, говорю я! Это общественная ложь, одна из тех общепринятых лживых условностей, против которых обязан восставать каждый свободный и мыслящий человек. Из каких людей составляется большинство в стране? Из умных или глупых? Я думаю, все согласятся, что глупые люди составляют страшное, подавляющее большинство на всем земном шаре».

Эти его слова, как известно, очень нравились анархистам, которые видели в них оправдание бунтарской деятельности «сознательного революционного меньшинства». Но анархисты ошибались. Эти слова доктора Стокмана оправдывали нечто совершенно другое. Посмотрите, в самом деле, какой практический вывод делает из них он сам: «Но правильно ли, чорт возьми, чтобы глупые управляли умными? (Шум и крик.) Да! да! Вы можете перекричать меня, но не опровергнуть мои слова. На стороне большинства сила — к сожалению, — но не право. Правы — я и немногие другие единичные личности. Меньшинство всегда право»<sup>1</sup>.

Согласятся ли анархисты с тем, что на стороне большинства сила, «но не право»? Я думаю, что нет. Дальше. Согласятся ли анархисты с тем, что меньшинство «всегда» право? Я думаю, что не согласятся. Иначе им пришлось бы признать, что капиталисты «всегда» правы в своих столкновениях с рабочими. Но если с этим не согласятся, — по крайней мере не должны были бы соглашаться, если бы хотели быть логичными, — анархисты, то с этим согласятся и должны согласиться, во-первых, все те,

<sup>1</sup> Генрик Ибсен, Враг народа, Соч., т. V, стр. 405. — Ред.

которые принадлежат к привилегированному меньшинству, а во-вторых, все те, которые стараются оправдать с помощью теории существование такого меньшинства. Наконец, мы уже знаем, что с этим вполне согласен Ивар Карено, мечтающий об «истреблении» рабочих. Но тут возникает вопрос: почему же он соглашается с этим?

Что люди, принадлежащие к привилегированному меньшинству, готовы рукоплескать всем тем, которые оправдывают их привилегированное положение, это понятно без дальнейших пояснений. Но Ивар Карено к привилегированному меньшинству не принадлежит. Он не только не богатый человек; он — бедняк, раздавленный долгами. Пьеса «У царских врат» оканчивается сценой, в которой Карено принимает судебного пристава, явившегося для описи его имущества. И он разорился не потому, что хотел залезть в чужой карман с помощью какой-нибудь спекуляции, а потому что, будучи всецело поглощен своим сочинением, не имел практической возможности обеспечить себе хлеб насущный. Это не «приобретатель», а полный самоотвержения человек идеи. Почему же он облюбовал идею, враждебную рабочему классу? Он не капиталист, а, как любили у нас выражаться когда-то, пролетарий умственного труда. Почему же ум этого пролетария трудится в направлении, противоположном интересам пролетариев физического труда? Об этом очень стоит подумать.

Мы не знаем прошлой жизни Ивара Карено. В пьесе «У царских врат» нет на нее ни одного намека. Из нее мы узнаем только, что в жилах Карено «течет кровь маленького, непокорного народа», так как его предок был финн. Но этого, разумеется, мало. Дело не в расе, а в тех условиях общественной и частной жизни, которые привели нашего героя к его человеконенавистничеству. Эти условия нам неизвестны. Карено выступает перед нами как совершенно сложившийся человеконенавистник. Но вот живое лицо, польский поэт Ян Каспрович, который, кстати сказать, сам вышел из народной среды. Каспрович, подобно Ивару Карено, презирает народную массу и обращается к ней, например, с такими любезностями:

«Король в лохмотьях, сидящий на троне, с которого содраны бисер и позолота! Твои глаза горят огнем зависти, похоти искажают твои уста в гнусную пасть. Ты тарачишь страшные глаза василиска или же хитро прикрываешь их притворством, прельщая зверя, который обгагрется кровью под твоими когтями, под твоей тощей рукой!»

А вот еще: «Ты — враг духа! Оловянными ступнями ты затоптал те цветы, которые посеяла рука божественного сеятеля! На поблекшей пустоши ты ставишь страшную для духа тушу тела. Где ты истребил фундаменты прежних святилищ, — там вырастет новый храм для тебя. О неизмеримая, о божественная, о святая, о монарх, о король, о первосвященник! Вот великий алтарь, весь покрытый золотом! На нем распучится твоя толстая падаля, пер-

вейшее из первых божеств, няньчающее на своих коленях Разврат! Долго ли ты будешь царствовать, ты, кровавый дикий Молох, пожравший мое сердце?..»<sup>1</sup>

Когда Пушкин и Лермонтов нападали на «чернь», они чаще всего имели в виду светскую чернь богатых гостиных, одетую в раззолоченные мундиры и получающую богатые доходы. У них слово «чернь» чаще всего служит синонимом слова «свет». А Каспрович, подобно Карено, имеет в виду не «свет», а именно «народ», трудами которого покупаются роскошь и удовольствия «света». Если у «толпы» Каспровича «т о щ а я» рука, то это, очевидно, вследствие лишений. Именно эту, переносящую всевозможные лишения, толпу ненавидит Каспрович; именно ее торжество должно, по его мнению, принести с собой разврат и всякую гнусность. А между тем прежде он относился к ней совершенно иначе. «Прежде ты была моим божеством, толпа», — говорит он в одном своем стихотворении. В молодости он не чужд был некоторых, правда, очень неопределенных, социалистических симпатий. Почему же утратил он эти симпатии? «Твой желудок уничтожил мою веру, — восклицает он, обращаясь к «толпе», — и теперь моя любовь уже не умеет сгибаться на ступенях твоих алтарей без божества. Теперь, с остатками силы, стал я богохульствовать, и моя слабая рука кромсает своего истукана, кровавый Молох, который изгрыз мое сердце и, как вампир, высосал дорогой мозг моей души!»<sup>2</sup>

Вера Каспровича была уничтожена, как говорит он сам, «желудком толпы». Что же это значит? Это значит, что требования этой последней оказались ему слишком грубыми, слишком материалистичными, как выражаются филистеры всех стран. Каспрович хотел бы, чтобы у людей были возвышенные идеалы. Но он не понимает, что возвышенный идеал может быть тесно связан с определенными э к о н о м и ч е с к и м и требованиями. У него здесь — экономия, а там — идеал; идеал отделен от экономии целой пропастью, и нет и не может быть моста, соединяющего тот край пропасти, на котором стоит идеал, с тем, на котором находится экономия. Это — наивный, почти ребяческий взгляд, лишенный всякого научного понимания общественной жизни и общественной психологии. Доводы, основанные на таком взгляде, разумеется, совсем неубедительны. Но они весьма характерны, как показатели современного настроения целого общественного слоя, — тех «пролетариев умственного труда», к числу которых принадлежит, как мы видели, и наш герой Ивар Карено. Слой этот занимает в капиталистическом обществе промежуточное положение между пролетариатом, в настоящем смысле этого слова, и буржуазией. Хотя из него вышло много людей, оказавших незаменимые услуги пролетариату, но в общем и целом он постоянно колеблется между двумя

<sup>1</sup> См. А. И. Я ц и м и р с к и й, Новейшая польская литература, т. II, стр. 284, 285.

<sup>2</sup> Там же, стр. 284.

борющимися сторонами. Сегодня и здесь он больше сочувствует рабочим; завтра и там он склоняется больше на сторону буржуазии. Но как бы ни было велико его сочувствие рабочим, он никогда не умеет окончательно разделаться с буржуазными пред-рассудками. Господствующие в среде буржуазии стремления и взгляды всегда имеют на него огромное влияние. Вот почему даже социалистические его симпатии имеют буржуазный характер. Слой этот чрезвычайно редко идет дальше буржуазного или мелкобуржуазного социализма. А так как буржуазный, равно как и мелкобуржуазный, социализм не способен стать на материалистическую основу, то люди, им зараженные, всегда высокомерно смотрят на «желудочные» требования пролетариата. Требования эти представляются им порождением «зависти». А когда эти люди начинают утрачивать свои, хотя бы и мелкобуржуазные, социалистические симпатии, им кажется, что эта психологическая перемена, столь естественная, как мы уже знаем, в их промежуточном положении совершается в них единственно потому, что грубый «желудок» пролетариата оскорбляет их нежную «веру». И тогда они не находят достаточно слов для выражения своей ненависти к пролетариату; тогда они начинают ждать пришествия сверхчеловеческого «деспота» и т. п. Тут приходится согласиться с Некрасовым в том, что очень становится зол крылья свои опаливший орел.

Когда люди этого разряда снисходят до участия в рабочем движении, они, вследствие утопического характера своих идеальных стремлений, предъявляют к нему самые несбыточные и самые нелепые требования. И чем нелепее и несбыточнее эти требования, тем скорее разочаровываются эти господа в современном социализме. Эрик Фальк говорит у Пшибышевского:

«Я не верю в социал-демократическое благополучие. Я не верю также в то, чтобы партия, имеющая в изобилии деньги, основывающая больничные и сберегательные кассы, могла чего-нибудь достигнуть... Я не верю, чтобы партия, думающая о спокойном, рациональном разрешении социального вопроса, могла вообще что-нибудь сделать. Так же мало, как и салонный анархист г. Джон-Генрих Макэй... Все они проповедуют мирную революцию, замену разбитого колеса новым в то время, как телега находится в движении. Вся их догматическая постройка идиотски глупа именно потому, что она так логична, ибо она основана на всемогуществе разума. Но до сих пор все происходило не по разуму, а по глупости, по бессмысленной случайности».

Нет никакой надобности рассматривать здесь, верно ли понимает Фальк «социал-демократическое благополучие» и правильно ли изображает он социал-демократическую тактику. Для моей цели достаточно указать на то, что «догматическая постройка» современной социал-демократии возмущает этого героя именно своей логичностью. Он объявляет ее «идиотски-глупой» именно за то, что «она основана на всемогуществе разума», и уверяет, что до сих пор все происходило «по глупости, по бессмысленной случайности».

Очень легко себе представить, что его тактика, основанная на «бессмысленных» соображениях, не заслуживала бы ни малейшего упрека ни в «разумности», ни в «логичности». И не менее легко представить себе, что, примкнув к рабочей партии, гг. Фальки, несмотря на буржуазную природу своего социализма, всегда будут тяготеть к тому ее крылу, который они сочтут «наиболее крайним»: ведь им так ненавистно все то, что хоть издали походит на «мирную революцию»<sup>1</sup>. Но так как «крайние» стремления, опирающиеся лишь на «глупость» и на «бессмысленную случайность», имеют все данные для того, чтобы оставаться неосуществленными, то гг. Фальки еще и поэтому должны «разочаровываться» при первом же столкновении с жизнью. «Разочаровавшись», они начинают посылать по адресу «толпы» любезности вроде тех, о которых дают понятие вышеприведенные отрывки из стихотворений Каспровича. Они презирают «большинство» не меньше, чем доктор Стокман. Однако в их нападках на него уже нет и уже не может быть наивности, свойственной нападкам доктора Стокмана. Они имели случай узнать то, что было неизвестно Стокману, и они поняли, что никому нельзя оставаться равнодушным к современному рабочему движению, а нужно или решительно перейти на его сторону, или столь же решительно восстать против него. Само собой понятно, что в качестве разочарованных они могут сделать только этот последний выбор.

### III

Если после всего сказанного мы вернемся к пьесе «У царских врат», то мы без труда увидим, откуда взялись «свободные мысли» Ивара Карено. Они представляют собой отрицательный идеологический продукт борьбы классов в современном капиталистическом обществе. При этом, разумеется, не следует предполагать, что каж-

<sup>1</sup> Как это всем известно, значительная часть наших декадентов несколько лет тому назад примкнула к нашему рабочему движению, войдя в ту ее фракцию, которая казалась ей самой «левой»: г. Минский был редактором «Новой жизни»; Бальмонт объявил себя на это время кузнецом, куящим стих на столбцах той же газеты, и т. д. Всем известно также, что эти господа внесли в названную фракцию свойственные им буржуазные идеологические предрассудки. Фракция эта до сих пор еще не вполне отделалась ни от «пролетариев» этого калибра, ни от столь характерной для них псевдореволюционной тактики. Но к чести ее надо сказать, что она уже сделала несколько важных шагов в направлении к разрыву с ними. Что касается, собственно, нашего автора, то, как видно из напечатанного в «Речи» (от 1 сентября 1909 г.) фельетона под названием «Отрывок из биографии Кнута Гамсуна», он тоже увлекался «крайним» учением: сочувствовал анархистам. Стало быть, он не составляет исключения из указанного мною общего правила. Кнут Гамсун не всегда был «пролетарием умственного труда». Было время, когда он служил приказчиком (в Гьевике, в Норвегии). Подобное промежуточное общественное положение больше всего способствует политическим и всяким другим колебаниям между буржуазией и пролетариатом.

дый отдельно взятый представитель интересующего нас здесь общественного слоя переживает оба указанные фазиса личного развития. Нет, я дал общую схему, далеко не всегда приложимую к каждому отдельному случаю. Так, например, далеко не всегда случается, что человек начинает сочувствием рабочему движению, чтобы кончить презрением и ненавистью к нему. Очень часто, — и, вероятно, чаще всего, — современный пролетарий умственного труда не переживает по отношению к пролетариату ни положительных, ни отрицательных сердечных увлечений, а холодно и спокойно усваивает с самой ранней юности все средние ходячие предрассудки буржуазии на его счет. Говоря это, я имею в виду собственно з а п а д н о г о пролетария умственного труда. Иногда же бывает, что он сразу проникается отрицательным настроением «разочарованных». Тогда он сразу начинает тем, чем кончил Каспрович: ожесточенными диатрибами по адресу «завистливой» рабочей «толпы». Можно думать, что в лице Ивара Карено Кнут Гамсун выводит перед нами именно одного из таких обличителей современного пролетариата. Во всем, что говорит Карено, нет ни малейшего намека на какие бы то ни было прежние симпатии его к рабочему движению. В своей сознательной жизни он как будто всегда был его страстным ненавистником. Правда, Карено — гражданин такой страны, в которой современная борьба классов не достигла еще значительной степени интенсивности. Но это не изменяет дела по существу. Его страна не застрахована от умственного влияния передовых капиталистических стран. Притом же почти невероятная нелепость его конечной цели («истребление рабочих») может быть отнесена именно на счет экономической неразвитости его родины. Он думает, что машины будут производить и без рабочих. Эта нелепая утопия не могла бы возникнуть ни в одной из стран, далеко ушедших вперед по пути капиталистического развития и машинного производства: слишком уж очевидно там, что успехи техники не только не суживают роль пролетариата в современном производительном процессе, но, напротив, все больше и больше расширяют ее. Совершенно то же объяснение приходится дать и некоторым другим несообразностям пьесы «У царских врат»: их не было бы, если бы эта, — точнее сказать: п о д о б н а я этой, — пьеса появилась в литературе одной из более развитых капиталистических стран. В доказательство сошлюсь на отношение профессора Гиллинга к Ивару Карено.

Этот либеральный профессор во что бы то ни стало хочет излечить молодого писателя от его ненависти к рабочим. Сам он стоит на точке зрения современной английской философии («весь мир живет ею и все мыслители в нее верят», говорит он Карено), на точке зрения «Спенсера и Милля — этих обновителей нашей мысли». В духе Спенсера и Милля он и хочет повлиять на Карено, который, с своей стороны, выступив в поход против рабочего класса, считает необходимым сокрушить «современную английскую философию». Иервен, бывший товарищ и единомышленник Карено,

изменивший своим взглядам вследствие интриг Гиллинга, так характеризует этого последнего:

«Он не особенно занимателен, нет. Нападает на Гегеля, на политику «правых» и учение о святой троице и выступает на защиту женского вопроса, всеобщего избирательного права и Стюарта Милля. Вот он и весь! Либерал в серой шляпе и без грубых ошибок» (стр. 36—37).

Но разве же «либерал в серой шляпе и без грубых ошибок» может считаться в настоящее время выразителем и защитником освободительных стремлений пролетариата? Конечно, нет! А если нет, то почему же Карено и его единомышленники ведут такую жестокую теоретическую борьбу с этим несчастным либералом? Вероятно, потому, что сами еще не знают хорошенько, каких именно мыслителей нужно считать теоретиками современного пролетариата. А такое незнание опять возможно только там, где современное рабочее движение еще мало развито. Ошибка, делаемая Карено и его единомышленниками под неоспоримым влиянием Кнута Гамсуна, просто-напросто смешна. Но эта смешная ошибка свидетельствует об экономической отсталости той страны, в которой она была сделана.

Далее «либерал в серой шляпе и без грубых ошибок» с таким увлечением отстаивает «современную английскую философию» и... современный пролетариат, что не отступает даже перед интригами. Он принимает все меры для того, чтобы не давать хода людям, разделяющим образ мыслей Карено, ни в литературе, ни в университете. Иервен прямо говорит, что профессор Гиллинг помешал бы ему получить звание доктора и стипендию, если бы он не отказался от своих взглядов, тождественных со взглядами Карено. Самого Карено Гиллинг отечески убеждает быть благоразумнее. «Философия вовсе не отрицает остроумия, — говорит он, — но что она безусловно запрещает, это — неуместные шутки. Бросьте писать ваши статьи, Карено. Я советую вам подождать с этим и дать созреть и проясниться вашим взглядам. С годами приходит и мудрость» (стр. 19—20). Заметьте, что для либерального профессора мудрость, приходящая с годами, заключается не только в уважении к «современной английской философии», но и в защите интересов рабочего класса. По словам Карено, «наш собственный профессор Гиллинг посвятил много таланта и силы, сражаясь за рабочий вопрос»<sup>1</sup>. И, как видно, сам Гиллинг думает, что этому вопросу им посвящено немало таланта и силы. Приведя ту мысль Карено, что высокие хлебные пошлины нужны для того, чтобы уморить голодом рабочего, «который должен погибнуть», он спрашивает его: «разве вы ничего не читали, что мы все писали по этому вопросу?» (стр. 21). Далее оказывается, что «одним только» Гиллингом по этому вопросу написано «около шести

<sup>1</sup> Я уже сказал, что Г. Я. Данилин плохо перевел эту пьесу. Но мысль Карено здесь все-таки совершенно понятна.

мелких и крупных произведений» (стр. 21). Это тоже в высшей степени характерно. «Либерал в серой шляпе» совсем не одинок в своей защите рабочего класса. Рядом с ним те же интересы защищают многие другие. Кто же эти другие? Профессор Гиллинг говорит кратко — «все мы». Но из хода пьесы видно, что этим «мы» имя легион. К ним принадлежит все, что имеет некоторое значение и влияние в так называемом «обществе».

Вот почему Карено думает, что сочинение, в котором он советует «истребить» рабочий класс, будет встречено нападками и бранью. И вот почему книгопродавец побоялся издать это сочинение, когда Карено не захотел переделать его в духе, желательном для профессора Гиллинга. Недаром Гиллинг советовал ему «немножко пересмотреть эту работу».

Словом, пьеса Кнута Гамсуна переносит нас как будто на луну: такой удивительный вид приняли в ней наши земные отношения. Карено думает, что никакое правительство, никакой парламент, никакая газета не пропустят ничего враждебного рабочим. Это — смешное утверждение; но это смешное утверждение становится понятным, если мы поверим тому, что на родине Карено все сколько-нибудь влиятельные члены «общества» страстно и упорно защищают не только «современную английскую философию», но и пролетариат. И не только страстно и упорно. Надо прибавить к этому, что интересы «современной английской философии» и пролетариата защищаются в этом «обществе», как видно, уже с давних пор. Я думаю так потому, что единоклубная борьба за интересы рабочих («современную английскую философию» можно, пожалуй, оставить в стороне) изображается у Гамсуна как нечто традиционное в обществе, окружающем Карено, — как нечто такое, для исполнения чего достаточно одной привычки, и что в своем влиянии на умы уже приобрело прочность предрассудка. Только потому люди, не сочувствующие этой борьбе, — Карено, Иервен и их немногочисленные единомышленники, — и представляются людьми свободной мысли и радикальными новаторами. Но где же находится эта Аркадия? В воображении Кнута Гамсуна; в современном цивилизованном мире для нее места нет и быть не может. Ведь это же мир капиталистический или становящийся капиталистическим, мир, основанный на эксплуатации производителей обладателями средств производства, — мир более или менее обостренной борьбы классов. В таком мире решительно невозможна та идиллия, на которую так недвусмысленно намекает нам пьеса «У царских врат». Эксплоататоры никогда не отличались заботливостью по отношению к эксплуатируемым. И нужна чрезвычайно богатая фантазия в соединении с полной беззаботностью насчет общественной жизни, чтобы вообразить, будто эксплуататоры, — хотя бы они и носили серые шляпы и увлекались «современной английской философией», — могут в своей нежной заботливости об эксплуатируемых дойти до такой крайности, которая заставит их забыть правила нравственности и сделает их

интриганами. Людей, обладающих такой богатой фантазией, очень немного. На всех же остальных эта сторона пьесы Гамсуна должна производить совершенно нехудожественное впечатление выдуманности, несоответствия с правдой. Такое же нехудожественное впечатление должен производить и характер Карено. Заставляя своего героя сообщать нам, что его предок был финн, Гамсун как будто делает попытку сделать вероятным для нас его непокорство. Но вопрос совсем не в непокорстве. Непокорные люди могут быть везде, и для того чтобы мы поверили в непокорство Карено, нам нет никакой надобности знать, что в его жилах течет кровь «меленького непокорного народа». Вопрос в том, какой характер приняло непокорство Ивара Карено. А этот характер опять производит впечатление чего-то вымышленного, не соответствующего правде.

Мы уже знаем, что Карено исполнен самоотвержения. Если он забывает о своей жене, к которой он на самом деле очень привязан, то это происходит единственно оттого, что он весь поглощен своей идеей. В поле его зрения нет места для людей и предметов, не имеющих прямого отношения к той цели, которую он себе поставил. Вот почему он так запускает свои материальные дела, что ему приходится принимать у себя судебного пристава. И даже тогда, когда суровая проза жизни очень настоятельно напоминает ему о себе, даже тогда, когда он приходит к ясному сознанию крайней затруднительности своего положения, — он не обнаруживает ни малейшей склонности к компромиссу. Напрасно либерал в серой шляпе, профессор Гиллинг, поет пред ним свои песни влюбленной (по прихоти Гамсуна) в пролетариат сирены. Карено остается непоколебимым. Только тогда, когда он открывает измену жены и когда у него является желание вернуть себе ее любовь, он делает попытку вести себя иначе. «Я могу изменить кое-что в моей книге, — говорит он. — Я перерешил. Заключительная глава, о либерализме, вызвала протест профессора Гиллинга. Хорошо, я вычеркну ее, она вовсе не так обязательна. Я вычеркну также кое-какие резкие места. И после этого останется еще большая книга. (Грубо.) Я переделаю книгу» (стр. 113—114). Но он скоро убеждается в полной безнадежности своей попытки. «Я опять передумал, — кричит он, стоя перед дверью, ведущей в уже опустевшую комнату его жены. — Элина, я этого не мог. Ты можешь говорить, что хочешь. Я не переделаю. Ты слышишь? Я не в состоянии» (стр. 118). Это поистине редкая и достойная всякого уважения преданность идее. Но какой идее? Мы уже знаем: идее истребления рабочего класса, идее человеконенавистничества. Карено обнаруживает замечательно хорошее качество, стремясь к замечательно дурной и вдобавок еще к совершенно нелепой цели. И это противоречие больше всего вредит художественному достоинству пьесы. Рескин очень глубоко замечает: «девушка может петь о потерянной любви, но скряга не может петь о потерянных деньгах». Гамсун как будто задался целью показать,

что это не так. Он сделал попытку изобразить в свете идеализации то, что поддается идеализации еще меньше, нежели чувство скряги, потерявшего свои деньги. Неудивительно, что вместо драмы у него получилось тут особого рода слезливая комедия, производящая впечатление колоссальной литературной ошибки.

Я не скажу, чтобы характер, подобный характеру Карено, был совсем немыслим. Я легко могу представить себе, что при подходящих обстоятельствах Ницше повел бы себя совершенно так же, как Ивар Карено. Но Ницше был исключением и притом, — это необходимо помнить, — патологическим исключением. Психически больные люди здесь в счет не идут, а что касается здоровых, то они обнаруживают великое самоотвержение лишь под влиянием великих идей. Идея «истребления» пролетариата не может вдохнуть самоотвержение уже по одному тому, что сама она порождена чувством, прямо противоположным самоотвержению: доведенным до нелепой крайности эгоизмом эксплуататоров. Да и нет никакой надобности человеконенавистнику в самоотвержении. Чтобы вредить людям, вполне достаточно эгоизма. Это, кажется, очень хорошо понял Пшибышевский. И нельзя не признать, что в характере, например, Эрика Фалька гораздо больше художественной правды, нежели в характере Ивара Карено. Впрочем, эти слова не точно выражают мою мысль. В характере Карено художественная правда совсем отсутствует. Поэтому надо сказать: Пшибышевский понял, что человеконенавистникам достаточно эгоизма, и потому его Эрик Фальк так же правдив в художественном смысле, как лжив в том же смысле Ивар Карено. Насколько я знаю, наша критика не обратила никакого внимания на указанное мною обстоятельство. Почему это? Или это — тоже знамение времени?

#### IV

Этот последний вопрос я ставлю потому, что сама пьеса «У царских врат» должна быть рассматриваема как несомненное знамение нашего времени. Она была бы невозможна в прежнее время, например в эпоху старого романтизма, с которым романтизм нашей эпохи имеет очень много общего. Вспомните, как писали романтики старого времени. Шелли взывал к своему народу:

Британцы, зачем вы волочите плуг  
Для лордов, что в тесный замкнули вас круг?  
Зачем вы готовите пышные платья  
Тиранам, которые шлют вам проклятья?  
Зачем бережете вы, жалко стена,  
От первого дня до последнего дня,  
Шершней беззастенчивых, пот ваш сосуших,  
Не пот ваш сосуших, а кровь вашу пьющих?  
Зачем вы, о пчелы родимой страны,  
Оружье и цепи готовить должны,  
Чтоб шершни без жала, презревши заботы,  
У вас отнимали добычу работы?

У вас есть достаток, досуг и покой,  
 Уют и слиянье с душой дорогой?  
 Что ж вы покупаете этой ценою?  
 Томленьем и страхом и мукой тройною?  
 Хлеба вы взрастили, — другой их пожнет;  
 Богатства нашли вы, — другой их возьмет;  
 Вы платья соткали — кому? для чужого;  
 Оружье сковали — для власти другого.  
 Растите хлеба — но не наглым глупцам;  
 Ищите богатства, — не дерзким лжецам;  
 И тките одежду — на смерть паразиту.  
 И куйте оружие — себе на защиту.

Это прямо противоположно тому, что говорит Карено, зывающий не к народу, а к «террористу».

Шелли тоже умеет негодовать на свой народ. Он возмущается его недостатками. Но в чем он видит их? Не в том, что народ этот стремится к своему освобождению, а, наоборот, в том, что он слишком мало к нему стремится:

Ну, притчесь в подвалы, отверженный род,  
 Вы строили замки, другой в них живет.  
 Вы цепи трясете, что сами сковали,  
 Дрожите пред силою вашей же стали\*.

Это — чувства, прямо противоположные тем, которые вдохновляют трагикомического Карено. Правда, Шелли тоже был если не единственным, то во всяком случае редким исключением из общего правила. Романтики вообще были далеко не так народолюбивы, как он. Они тоже были идеологами буржуазии и нередко смотрели на народ как на «толпу», годную лишь для того, чтобы служить подножием для отдельных выдающихся личностей. Этого греха совсем не чужд, например, Байрон<sup>1</sup>. Но и Байрон ненавидел деспотизм, и Байрон умел сочувствовать тогдашним освободительным движениям народов. Да что говорить о Байроне и о романтиках! вспомните гордые и благородные слова, с которыми обращается Прометей к Зевсу у Гете:

Ich dich ehren? Wofür?  
 Hast du die Schmerzen gelindert  
 Je des Beladenen?  
 Hast du die Tränen gestillet  
 Je des Geängsteten?<sup>2</sup>\*

Здесь, — даже у «олимпийца» Гёте! — мы опять видим чувства, прямо противоположные тем, которые характеризуют собою

<sup>1</sup> Манфред говорит охотнику, приотвистившему его в своей хижине: «Терпенье! — нет; не кровожадным птицам, — оно идет лишь вьючному скоту. Тверди о нем тебе подобной грязи: я не из вашей братьи».

<sup>2</sup> [Плеханов цитирует фрагменты драмы Гёте «Прометей», 1773 г.:

Мне тебя чтить? За что?  
 Облегчил ли ты страдания обремененных?  
 Остановил ли ты слезы запуганных?]

настроение Карено. Если бы Карено, который, по замыслу Гамсуна, тоже должен изображать собою что-то вроде взбунтовавшегося титана, вздумал формулировать свое неудовольствие небом, то он, конечно, стал бы упрекать Зевса не в том, что тот равнодушен к страданиям людей, а только в том, что слишком равнодушен к ним. Он нашел бы, что «отец богов и людей» недостаточно хорошо усвоил себе этику сильных, как понимает ее он, «кандидат философии», Ивар Карено.

Словом, тут перед нами целый переворот. Было бы в высшей степени важно для теории проследить, каким образом подготовлялся этот переворот в западноевропейских литературах. Я не имею никакой возможности братья здесь за это. Но мне хочется отметить, что кое-что, — впрочем, очень и очень немного, — уже сделано в этом направлении, преимущественно французами. К числу сочинений, заключающих в себе много таких данных, которые могли бы служить для характеристики интересующего нас здесь общественно-психологического процесса, следует отнести книгу Рене Кана «Du sentiment de la solitude morale chez les romantiques et les parnassiens» (Paris, 1904)<sup>1</sup>. Кана делает интересные указания насчет того, как постепенно изменялись во Франции черты дорогого романтикам байроновского типа («type byronien»). Он говорит, что черты этого типа встречаются, между прочим, у Бодлера и у Флобера. «Последним выдающимся человеком байроновского типа был занимательный (amusant) Барбе д'Орвильи» (стр. 52).

Мне кажется, что это справедливо. Но вспомните, как относился «занимательный» Барбе д'Орвильи к освободительным идеям своего времени. В его характеристике поэта Ларона Пиша мы читаем: «Если бы он решился втоптать в грязь (fouler aux pieds) атеизм и демократию, эти два позорных пятна его мысли (ces deux déshonneurs de sa pensée)... он был бы, может быть, поэтом великим во всех отношениях, между тем как он остался только отрывком великого поэта<sup>2</sup>. Таких отзывов можно найти у него немало. Барбе д'Орвильи был решительным сторонником католицизма и столь же решительным противником демократии. Насколько мы имеем право судить по некоторым довольно неясным намекам, Гамсун делает своего Ивара Карено врагом не только католицизма, но и вообще христианства<sup>3</sup>. С этой стороны Ивар Карено очень далек от «последнего выдающегося человека байроновского типа». Но он весьма близок к нему со стороны политики: мы хо-

<sup>1</sup> [«О чувстве морального одиночества у романтиков и парнасцев», Париж, 1904]. Парнасцы — представители французской литературной школы второй половины XIX века. — Р е д.

<sup>2</sup> «Les poètes», éd. 1893 [«Поэты», изд. 1893].

<sup>3</sup> Он кричит Иервону, убедившись в его «измене»: «Поди и отдай свои деньги попам» (стр. 87). Когда его жена с огорчением вспоминает, что он отнесся холодно к картине, которую она подарила ему в день его рождения, он спокойно возражает: «Но ведь это было изображение Христа, Элина» (стр. 67). Бедная фру Карено убеждена, что «он, конечно, и в бога не верует» (стр. 47).

рошо знаем, как ненавидит Карено демократию. Тут он охотно подал бы руку Барбе д'Орвильи. А это значит, что одна из самых важных черт его характера роднит его с выродившимся «байроновским типом». Если отцом его был доктор Стокман, то между более отдаленными предками его, наверно, были байронисты.

Так обстоит дело с точки зрения психологии. А как обстоит оно с точки зрения социологии? Почему выродился «байроновский тип»? Почему «выдающиеся люди», ненавидевшие когда-то деспотизм и более или менее сочувствовавшие освободительным движениям народов, готовы рукоплескать теперь деспотам и топтать в грязь освободительные стремления рабочего класса? Оттого, что общественные отношения коренным образом изменились. Буржуазное общество переживает теперь совсем другую фазу своего развития. Оно было молодо, когда блистал настоящий (невыродившийся) «байроновский тип»<sup>1</sup>. Оно клонится к упадку теперь, когда по-своему — подобно новому медному пятаку — блистает ницшеанский тип, одним из представителей которого является Ивар Карено.

Ницшеанцы считают себя непримиримыми врагами мещанства. А на самом деле они насквозь пропитаны его духом.

Мы уже видели, как отразилось свойственное им мещанство на творчестве Кнута Гамсуна: очень большой художник дошел до того, что созданный им тип производит трагикомическое впечатление, в то время когда, согласно намерению автора, он должен был бы поразить нас своим глубоким трагизмом. А это уже совсем плохо. Тут приходится признать, что антипролетарская тенденция современных «геронических» мещан сильно вредит интересам искусства.

<sup>1</sup> Недаром байроновский Лара, в сущности равнодушный к интересам своих ближних, становится во главе восстания против феодалов.

## ДВЕ РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ Г. ЛАНСОНА ПО ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

### I

ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. XIX ВЕК. Г. Лансона, проф. Ecole Normale [Нормальной школы] в Париже. Перевод с французского под редакцией П. О. Морозова. Издание редакции «Образование». С.-Петербург, 1897 г.

Вы хотите переводить? Это хорошее намерение, но помните, что вы должны знать, во-первых, тот язык, с которого переводите; во-вторых — тот, на который делается ваш перевод; в-третьих — тот предмет, о котором идет речь в переводимом вами сочинении. Если не соблюдено хоть одно из этих условий, то вам лучше вовсе не братья за перо, потому что ваш перевод будет плох, и вы только введете читателей в заблуждение. Особенно не советуем вам полагаться на приятельские обещания «*просмотреть*» и «*оправить*» ваш перевод: по большей части из них ровнехонько ничего не выходит, и если перевод плох, то он таким и остается, несмотря ни на какие «*редакции*». А сделать и напечатать плохой перевод хорошей книги — значит ввести в заблуждение и подвергнуть попытке читателя, виновного только в любознательности да в незнании языка, на котором написана эта книга: согласитесь, что это чересчур строго.

Книга, название которой мы написали выше, переведена плохо. По всему видно, что переводчик недостаточно владеет французским языком. Он неловко передает мысль подлинника, и подчас у него попадают настоящие курьезы по этой части. Так на стр. 13 мы читаем о наружности Мирабо: «наконец, вся непропорционально-развившаяся голова его сидела на широком, неуклюжем туловище». Скажите, может ли быть такой человек, у которого не вся голова сидела бы на туловище? В подлиннике Лемерсье, свидетельство которого приводит здесь Лансон, заметив, что Мирабо был некрасив, и, довольно подробно описав его лицо, заканчивает свое описание словами: «*toute cette tête disproportionnée que portait une large poitrine*». Это значит, что некрасива была вся его голова, сидевшая и пр., а не что вся го-

лова сидела на туловище. На стр. 66 русского перевода говорится о Ройе-Колларе: «Отличаясь изобретательностью как в области политических теорий, так и в области спекулятивной философии, он явился в палате главой школы, ученики которой носили название доктринеров, что прекрасно выражало их умственную посредственность». В подлиннике вместо «их умственной посредственности» стоит: *leur esprit complit*, что значит: свойственный им всем (т. е. всем ученикам этой школы) дух, или их общий дух. Эта ошибка сильно искажает мысль Лансона, который очень высоко ставит умственные способности некоторых доктринеров. В примечаниях, на стр. IX, в кратком жизнеописании Гизо находится такое место: «После этого (после отказа от политической деятельности) он принимается за свои литературные труды... совмещая эти занятия с управлением французской кальвинистской церковью и являясь в этих делах строгим католиком». Читатель недоумевает: как же это католик, да еще строгий католик, мог управлять калвинистской церковью? И когда же это Гизо сделался католиком? Это недоумение может быть разрешено только справкой с подлинником. В подлиннике стоит: *sevérement orthodoxe*, а это значит — строго правоверный или ортодоксальный. Гизо был строго правоверным в кальвинистском смысле, а кальвинистское правоверие, как известно, очень далеко от католичества. Мы могли бы привести еще много подобных примеров, но вынуждены ограничиться указанием на то, что благодаря плохому знакомству переводчика с французским языком и французской литературой у него попадают странные промахи при переводе на русский язык названий всем известных сочинений; так «*Compagnon du tour de France*» Жорж Занд назван «Спутником в поездке по Франции» (!), «*La maison du chat, qui pelote*» переключен в «Дом изнеженной кошки» (!?) и т. п.

Вообще книга по-русски читается с трудом, и от ее чтения остается очень незстетичное впечатление, хотя по-французски она хорошо написана. Переводчик не настолько владеет русским языком, чтобы, передавая на нем мысли иностранного писателя, сохранить свойственную этому языку гибкость и свежесть; напротив, он неловко и несвободно идет за подлинником, который, как мы уже видели, не всегда ему и понятен. Нельзя не пожалеть читателя и нельзя не упрекнуть г. П. О. Морозова в том, что он недостаточно внимательно отнесся к своей обязанности редактора.

Что касается до самой книги, составляющей часть «XIX век» довольно известного сочинения Лансона «*Histoire de la littérature française*»<sup>1</sup>, она могла бы быть очень полезна русской читающей публике. Написана она с несомненным знанием, умным и серьезным человеком. Правда, иногда у него попадают ни с чем не сообразные литературные суждения. Так он думает, что

<sup>1</sup> [«История французской литературы»].

«у Жорж Занд больше психологии, чем у Бальзака». По этому поводу можно только развести руками. Автор вообще несправедлив к Бальзаку. По его словам, Бальзак был необузданный романтик, «но так как ему не доставало художественного чутья, поэтического гения и слога, то его романы и сцены, проникнутые романтическим вдохновением, сделались в настоящее время мертвыми частями, так как всегда были неудачны. Наоборот, он изображал в совершенстве души среднего или низкого уровня развития, нравы буржуазии или народа, материальные и чувственные предметы, и его темперамент оказался удивительно подходящим к сюжетам, на которых, повидимому, должно сосредоточиться у нас реальное искусство. Таким образом, своими достоинствами и недостатками Бальзак отделил в романе романтизм от реализма. И все-таки в его сочинениях остается нечто громадное, какое-то ненужное избытие, ни к чему не ведущее преувеличение, словом, нечто такое, что указывает на их романтическое происхождение»<sup>1</sup>. Все это очень странно. Каково бы ни было происхождение сочинений Бальзака, не подлежит ни малейшему сомнению то обстоятельство, что между ним и романтиками — целая пропасть. Перечитайте предисловия, которые писал Гюго к своим драмам; вы увидите там, как понимали романтики задачу психологического анализа. Гюго обыкновенно сообщает, что он в данном своем сочинении хотел показать, к чему приводит такая-то страсть, поставленная в такие-то и такие-то условия. Человеческие страсти «берутся» им при этом в самом абстрактном виде и действуют в выдуманной, искусственной, можно сказать, совершенно утопической обстановке. С подобной же «психологией» мы в огромном большинстве случаев встречаемся в романах Жорж Занд. Сочинения Бальзака чужды этого недостатка. Он «брал» страсти в том виде, какой давало им современное ему буржуазное общество; он со вниманием естествоиспытателя следил за тем, как они растут и развиваются в данной общественной среде. Благодаря этому он сделался реалистом в самом глубоком смысле этого слова, и его сочинения представляют собою незаменимый источник для изучения психологии французского общества времен реставрации и Людовика-Филиппа. Если его нельзя назвать отцом французского реализма, то разве лишь по той единственной причине, что между французскими реалистами не было ни одного человека, способного понять во всей ее полноте ту великую задачу, которую поставил себе гениальный автор «*Comédie humaine*»<sup>2</sup>: дети оказались недостойными отца. Но в этом надо винить не Бальзака, а всю историю французского общества со времени февральской революции и июньских дней 1848 года.

<sup>1</sup> Так сказано в русском переводе, а по-французски говорится просто, что в его сочинениях есть «что-то огромное, что-то излишнее и преувеличенное, отличающее их романтическое происхождение».

<sup>2</sup> [«Человеческая комедия»].

Лансон не понимает значения Бальзака. Это плохо; но это не мешает ему очень хорошо понимать и очень метко характеризовать многих других французских писателей. Его характеристика Гюго безукоризненна (см. стр. 191—197 русск. перевода). О Ройе (т. е. правильное — Руайе) Колларе он говорит: «Он изобрел нового рода спиритуализм, ораторскую философию, философский либерализм — умеренное и удобное учение<sup>1</sup>, подогнанное как раз к умственному складу и интересам французского буржуа» (стр. 66 русск. перевода). Эти немногие слова лучше характеризуют Руайе-Коллара, чем это могли сделать в специально посвященных ему сочинениях писатели вроде Спюллера. Прекрасно понят им также Гизо: «Гизо был человек с оригинальным, властным и энергичным характером, — говорит он, — с умом могучим, узким, догматическим, ясным и непоколебимо-самоуверенным; идеи, полезные его классу, имели в его глазах всю силу разума и всегда представлялись ему в свете полной очевидности. Вне своей деятельности он нигде не видел удовлетворительного осуществления этих идей в правительственной политике. По его мнению, вся история Европы, а особенно Франции, начиная от нашествия варваров, как бы по особой воле провидения, вела к тому, чтобы создать, возвысить, просветить и обогатить средний класс; задача его как историка состояла в том, чтобы изобразить это движение. Религию он считал необходимой «для порядка и для сохранения общества» и т. д. (см. стр. 67 русского перевода, который мы, впрочем, несколько изменили в выписанных нами строках). Это как нельзя более справедливо. Далее Лансон замечает, что «феодалы вожделения не пугали Гизо: все его усилия были направлены против демократии. Он вызывает удивление и досаду своей политикой сопротивления, своим упрямым отождествлением буржуазии с Францией, а буржуазных интересов с требованиями разума... никогда не был он более блестящим оратором, никогда рассуждения его не достигали большей силы и речь большего одушевления, как в то время, когда, рискуя существованием всего дорогого ему порядка, он надменно шел против необходимости и справедливости, отстаивая неправду, царившую в пошатнувшемся обществе» (стр. 68 русского перевода, который мы опять должны были несколько исправить). Тут есть большие неточности. До революции 1830 года Гизо очень боялся стремлений легитимистов; тогда он энергично боролся с ними и в своей борьбе проявил те самые свойства, которые сказались потом в его борьбе с демократией. Доводы его достигали наибольшей силы именно в брошюрах, направленных (в самом начале двадцатых годов, после падения министерства Деказа) против реакционных стремлений легитимистов. Несмотря на эти неточности,

<sup>1</sup> В русском переводе стоит: верное, во французском подлиннике: *juste*. Но Лансон вовсе не хочет сказать, что учение Руайе-Коллара было истинно; он хочет сказать только, что оно было чуждо крайностей, являлось настоящим «*juste milieu*» (правильной, верной серединой).

роль и взгляды Гизо рисуются здесь очень ярко. Возьмем еще пример, совсем из другой области, именно из истории французского водевиля. Вот как характеризует Лансон Скриба: «Скриб художник в том смысле, что его драматические комбинации не имеют никаких целей, кроме тех, которые в них заключаются. Для него театр — искусство, которое само себя удовлетворяет; ему не нужно ни мысли, ни поэзии, ни стиля: достаточно, чтоб пьеса была хорошо построена. Техника в его глазах — все, и в ней он мастер своего дела... Однако, сам того не подозревая, он вложил мораль в эти незначительные водевили, они наивно отражают мирозерцание автора и его публики, их ходячие мысли, которыми они руководились в своей деятельности и по которой судили о деятельности других. Эта мораль отличается самую вульгарную заурядностью; везде только и речи, что о деньгах, карьере, удаче; самый низменный идеал успеха и материального довольства — вот что Скриб и его публика называют здравым смыслом... Нельзя не чувствовать отвращения, видя, что каждый акт честности, доброты, преданности неизбежно оплачивается деньгами, крупным приданым или хорошим наследством. Скриб мог бы внушить романтическую страсть к нравственным эксцентричностям» (стр. 31—32 русского перевода). Это безусловно справедливо и прибавлять к этому нечего, кроме разве того, что, как это говорит Лансон, публика, рукоплескавшая Скрибу, была именно буржуазная публика.

Читатель заметил, может быть, что в приведенных нами примерах Лансон рассматривает характеризуемых им писателей как представителей буржуазии. Он вообще довольно охотно связывает развитие французской литературы с развитием общественного строя во Франции. Кто внимательно прочтет его книгу, тот найдет в ней немало доказательств той мысли, что, так как литература есть отражение общества, а общество есть, по выражению Белинского, единство противоположностей, то борьба этих противоположностей определяет собою ход литературного развития. Жаль только, что Лансон не понял всего значения этого взгляда, а потому и не сумел последовательно применить его к изучению истории литературы. Местами он готов даже восставать против него. Его мысль не вполне мирится с детерминизмом в применении к литературе, да, пожалуй, и вообще к историческим явлениям.

«Я отлично понимаю, — говорит он, — почему явилась французская трагедия; но почему именно Корнель или почему Расин, а не другие писатели трагедии? Лафонтен в своих произведениях должен был проявить оригинальность, которую разбирает Тэн. Но почему он проявил ее именно в баснях, это неясно. Если не ввести в объяснение элемент свободы, то три условия, о которых говорит Тэн<sup>1</sup>, недостаточно мотивируют результата». Тут самая

<sup>1</sup> Т. е.: 1) раса, 2) среда, 3) исторический момент.

очевидная и вопиющая путаница понятий. Во-первых, для истории литературы важно выяснить, как и почему явилась, как и почему исчезла французская трагедия; но почему именно Корнель, а не кто-нибудь другой, написал «Сиду», — это вопрос не существенный для научного объяснения литературной истории. Если бы на самом деле «Сид» был написан не Корнелем, а «кем-нибудь другим», то можно было бы спросить наоборот: почему «кем-нибудь другим», а не Корнелем?

Подобные вопросы можно плодить до бесконечности, и они не заслуживают никакого внимания. И пусть не говорят нам, что если мы не в состоянии перечислить всех условий, вызвавших собой появление данного литературного деятеля, то мы не можем научно объяснить его литературную деятельность. Это довольно жалкий софизм. Чего можем мы требовать от научного объяснения истории литературы? Указания тех обстоятельств, которыми определилась эта история. А когда нас спрашивают, почему именно Корнель написал «Сиду», то требуют, чтобы мы не только определили свойства той обстановки, в которой жили Корнель и другие современные ему литераторы, но также перечислили все те обстоятельства частной жизни, которыми обуславливалось развитие личности Корнеля и всех его литературных современников.

Говорим — во всех, потому что только подробное перечисление условий развития каждого отдельного писателя показало бы, почему только Корнель был Корнелем, а никто другой им не был и не мог быть. Наука никогда не будет в состоянии перечислить все эти условия. Но из этого не следует, что на помощь ей нужно призвать «элемент свободы». Механика может точно определить траекторию всякого данного артиллерийского снаряда, но она не в состоянии сказать, почему данный осколок ядра полетел именно сюда, а не в другое место. Следует ли из этого, что мы должны ввести «элемент свободы» в объяснение движения артиллерийских снарядов?

«Немыслимо, чтобы в литературе не отразилось обновление, которое, повидимому, совершается в мире общественном, политическом и нравственном, — говорит Лансон в последней главе своей книги. — Стоите вы за социализм или против него? Таков великий вопрос настоящего времени. Более чем когда бы то ни было бескорыстие и единомыслие стали необходимостью для буржуазии; она должна проникнуться духом солидарности, который один только в состоянии расширить круг идей и убить эгоизм» (стр. 237—238 русского перевода). На основании того, что Лансон говорил о Гизо, можно было подумать, что он враждебен буржуазии. Теперь мы видим, что ему хотелось бы спасти ее посредством нескольких благодушно утопических советов. Это кажущееся противоречие объясняется тем, что на самом деле он только против привилегий, которые могла бы присвоить себе, и действи-

тельно присвоила, крупная буржуазия, а вовсе не против буржуазного порядка вещей. Он знает, что во Франции этот порядок трещит по всем швам, но он знает, чем можно заменить его. Поэтому его гибель кажется ему гибелью всякого человеческого общежития и всех плодов цивилизации. И вот он старается спасти его, взывая к «элементу свободы». Вера в этот «элемент» дает ему некоторый нравственный отдых. Иначе сказать: Лансон апеллирует, от необходимости к свободе потому, что чувствует, как объективная необходимость все решительнее и решительнее обращается во Франции против «средних классов».

## II

ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Г ю с т а в а Л а н с о н а. Перевод со второго французского пересмотренного и дополненного автором издания. Издание К. Т. Солдатенкова. Том. I. М., 1896 г. Ц. 3 р. 50 к.

Недавно — в июньской книжке «Нового слова» — мы отметили появление в русском переводе под «редакцией» г. Морозова части («девятнадцатый век») истории французской литературы Лансона. Теперь мы хотим указать читателям на существование другого — несравненно более тщательного и умелого — перевода того же сочинения. Это пока еще тоже неполный его перевод: вышел только первый том — с десятого до XVII века включительно. К сожалению, издание г. Солдатенкова чрезвычайно дорого и по своей цене будет многим совершенно недоступно. Это тем более жаль, что теперь более чем когда-либо нам надо усердно и внимательно изучать историю духовного развития человечества во всех областях и всюду, где она имела место: теперь у нас очень сильно распространяется так называемый (в нашем литературном просторечии) эконо м и ч е с к и й материализм, согласно которому духовное развитие человечества определяется, в последнем счете, экономическими отношениями, отношениями производства. Это, конечно, совершенно правильный взгляд: лишь с точки зрения экономического (т. е. правильное — диалектическое) материализма и возможно действительно научное объяснение духовной истории человечества. Но такое объяснение — как и всякое другое научное объяснение — предполагает внимательное изучение фактов, хорошее знакомство с действительностью, которого не заменят никакие теории, никакие общие взгляды, хотя бы эти взгляды и теории и были в общем совершенно правильны. Кто, говоря о духовном развитии человечества, ограничивается ссылкой на то, что оно в последнем счете вызвано было развитием производительных сил, определившим собою все последовательные перемены в общественных отношениях людей, тот, несомненно, высказывает вполне верную мысль. Но мы еще не знаем, правильно ли понимает он эту несомненно

правильную мысль, или она остается в его голове мертвой абстракцией, бесплодным догматом, взятым на веру и окостеневшим в своей величавой неподвижности. Диалектический материализм больше всякой другой философской системы пострадал бы от догматического к нему отношения, так как догматизм есть злейший враг диалектики. Диалектический материализм не совокупность окостенелых догматов; это прежде всего метод изучения явления в жизни. Его значение поистине колоссально. Но оно навсегда останется не вполне понятным и ясным для тех, кто ограничивается одними методологическими рассуждениями и не старается применить свой правильный метод к изучению действительности.

Повторяем, теперь более чем когда-либо надо изучать духовную историю человечества. Очень полезным помощником в этом деле, поскольку оно касается истории французской литературы, может служить Лансон. Правда, его собственные взгляды на главную задачу, которую должны поставить перед собою люди, изучающие историю литературы, не могут быть признаны удовлетворительными; но этот важный недостаток выкупается глубоким знанием предмета, тонкостью литературного чутья и добросовестностью, которая не позволяет автору оставлять в тени или совсем замалчивать явления, резко противоречащие его любимым взглядам. От этой добросовестности много выигрывает читатель, хотя в то же время очень проигрывает сам Лансон: написанная им история французской литературы уже сама в весьма значительной степени опровергает его ошибочные взгляды; а еще того лучше указывает он тот путь, который неизбежно ведет к обнаружению их ошибочности.

В июньской книжке мы уже отчасти указали как на слабые, так и на сильные стороны сочинений Лансона. Но мы сделали это именно только отчасти, потому что для полного их рассмотрения нужно было бы написать большую критическую статью. Мы пользуемся настоящей заметкой для того, чтобы досказать хоть кое-что из недосказанного нами.

«Изучение литературы, — говорит Лансон, — не может обойтись в настоящее время без научной подготовки; известное количество точных положительных знаний должно служить необходимой опорой и руководством при наших суждениях. С другой стороны, ничего не может быть законнее всякой попытки связать путем научного метода наши идеи и отдельные впечатления и представить общую синтетическую картину хода развития<sup>1</sup> и преобразования литературы. Но не следует упускать из виду, что история литературы имеет целью характеристику отдельных писателей и что в ее основе лежат индивидуальные впечатления, индивидуальные интуиции. Она изучает не виды или категории по Корнелю, Расину или Гюго, и для изучения

<sup>1</sup> У Лансона сказано «рост»: des accroissements.

их она пользуется не такими приемами или опытами, которые могли бы быть повторяемы каждым и давали бы всегда неизменные результаты, а применением способностей, различных в каждой отдельной личности и дающих по необходимости относительные и недостоверные результаты. Ни по своей цели, ни по своим средствам литературные сведения не могут быть названы в строгом смысле научными» (стр. 7).

В четвертом французском издании своей книги Лансон, в особом примечании, старается устранить некоторые недоразумения, вызванные его взглядом на цель и средства изучения истории литературы. «Я не хочу сказать, — говорит он, — что надо вернуться к методу Сен-Бева и составлять галерею портретов. Я говорю только, что когда мы исчерпали все средства, способные объяснить нам появление данного произведения; когда мы отдали должное расе, среде и моменту; когда мы приняли в соображение весь ход развития того литературного вида, к которому принадлежит это произведение, — у нас остается нечто такое, чего не коснулись все эти объяснения, чего не объяснила ни одна из этих причин; это-то нечто, этот неопределенный и необъясненный остаток и составляет высшую оригинальность данного произведения; это-то нечто и вносится лично Корнелем или Гюго, составляет их литературную индивидуальность; поскольку этот личный остаток не поддается научному анализу, постольку и история литературы не может быть предметом строго научного изучения».

Подобные взгляды приходится часто слышать не только в применении к истории литературы, но и в применении к истории вообще или даже ко всей общественной науке. По существу Лансон здесь совсем не оригинален. Но во всем, что говорит этот умный и серьезный человек, есть некоторый «личный остаток», придающий что-то оригинальное и убедительное мыслям, в сущности неоригинальным и совсем неверным. В интересующем нас случае оригинальна та формулировка, которую придал Лансон ходячему возражению против попыток научного объяснения общественных явлений. Благодаря этой формулировке оно на первый взгляд кажется неотразимым: так как известный «личный остаток», вероятно, найдется в произведениях любого писателя, то, повидимому, надо признать, что Лансон прав, то есть, что «литературные сведения не могут быть названы в строгом смысле научными».

Но взглянем на дело несколько ближе и для этого возьмем одного из тех писателей, на которых ссылается Лансон, а именно Корнеля. Корнелю посвящены страницы 545—564 разбираемой нами книги. Перечитаем эти страницы и посмотрим, какой именно «личный остаток» нашел наш автор у этого великого драматического писателя.

Начнем с «психологии корнелевского героя». По словам Лансона, «героизм Корнеля — не что иное, как

экзальтированная воля, признаваемая безусловно свободной и безусловно могущественной». Корнелевский герой прежде всего человек, обладающий чрезвычайно сильной волей и сознающий это отличительное свойство своего характера: «Я властелин над собой так же, как и над вселенной», говорит Август в «Цинне». Такими же господами над собой являются и другие герои Корнеля, и это относится не только к мужчинам: его женщины отличаются не менее гордой энергией, не менее величавой силой самообличения. Спрашивается, чем объяснить это интересное литературное явление? «Влиянием общественной среды, — отвечает сам Лансон. — Мы находим удивительную гармонию между психологическими сюжетами Корнеля и действительной психической жизнью того времени: даже в женщинах было тогда мало женственного, они жили более головой, нежели сердцем» (стр. 554). Отчего же это было так? Известно, что вторая половина XVI века ознаменовалась во Франции чрезвычайно сильными общественными смутами, ожесточенной борьбой партий. Эта борьба и эти смуты вызывали сильное напряжение воли, закаляли характер. В литературе это отразилось в виде усиленного интереса к тем нравственным учениям, в которых воле отводится главное место: Дю Вер переводит Эпиктета, дю Плесси-Морне, д'Юрфе и другие перефразируют Сенеку и т. д. «Это пробуждение нравственной энергии подготавливает картезианскую теорию воли и корнелевскую теорию героизма, — говорит Лансон, — им же объясняется успех я н с е н и з м а, представлявшего собою суровую форму католицизма» (стр. 448). В том же направлении влияла и общественная жизнь первой половины XVII века. «Поколение, выросшее среди воспоминаний об ужасном прошлом и потрясений еще тревожного настоящего, люди эпохи тридцатилетней войны и заговоров против Ришелье отличались сильной и даже грубой натурой; они не чувствовали склонности к ребяческим забавам сентиментальной жизни... страсти людей этого типа были скорее грубы, нежели утонченны... в них не было абсолютно ничего женственного, ими управляли разум и воля... их романтический героизм соответствовал неодолимой потребности в усилии и деятельности» (стр. 512). Литература продолжает отражать эти выдающиеся черты общественной психологии: «Романы и эпические поэмы того времени — только карикатуры того энергичного и сильного типа, изображение которого мы находим у Корнеля, а определение — у Декарта». Во второй половине XVII века, когда прекратились смуты и когда полное торжество абсолютной монархии надолго закрыло те пути, по которым направлялась прежде энергия отдельных личностей (принадлежащих к более или менее привилегированным классам и слоям), — как в жизни, так и в литературе выдвигаются на первый план другие типы. Мы не станем вдаваться здесь в их характеристику; нам нужно было только отметить то в высшей степени важное для нас обстоятельство, что, по признанию

самого Лансона, психология корнелевских героев<sup>1</sup> является верным отражением психических свойств современной ей общественной среды<sup>2</sup>. А теперь мы пойдем за нашим автором дальше и послушаем, что скажет он нам о «форме корнелевской драмы».

«Основным принципом произведений Корнеля, — говорит он, — была истина, сходство с жизнью. Первое время он брел ощупью, так как вырос в такое время, когда никому не приходило в голову направлять драматическую поэзию к подобной цели; он устремлял свою фантазию в разные стороны... Но уже и тогда он создал свою особую, трезвую, серьезную, правдивую форму комедии... Затем он создал настоящую трагедию, на которой и остановился» (стр. 547).

На этот раз мы, повидимому, имеем дело с тем, что составляет «личный остаток» в произведениях Корнеля. В самом деле, если за основной принцип своих драматических произведений он взял истину, хотя вырос в такое время, когда о ней никто не думал, то кажется ясно, что важнейшей отличительной чертой своих произведений он обязан был самому себе, а не окружающей его общественной среде. Однако и тут приходится заметить, что такой вывод правилен только на первый взгляд. Истина корнелевской трагедии заключается в отсутствии той романтической запутанности, которая преобладала в драматических произведениях его предшественников и благодаря которой действие обуславливалось не характерами и положениями действующих лиц, а случайными сочетаниями случайных причин. Лансон говорит, что Корнель никогда не прибегал к романтическим приемам<sup>3</sup>. C'est

<sup>1</sup> Еще нагляднее показано это в другом сочинении нашего автора, а именно в его книге «Nivelle de la Chaussée et la comédie larmoyante», Paris (1887), deuxième partie, chapitre premier: Origine de la comédie larmoyante [Nивель де ля Шоссе и слезливая комедия]. Париж, 1887, вторая часть, глава первая: происхождение слезливой комедии]. Было бы очень полезно приложить русский перевод этой интересной и прекрасно написанной главы ко второму тому «Истории французской литературы».

<sup>2</sup> Рукописный текст этого места после конца цитаты из Лансона:

«Во второй половине того же столетия, когда Франция успокоилась и отдохнула, наконец, под управлением «короля-солнца», как в жизни, так и в литературе начинают преобладать другие типы. Но мы не будем говорить об этих новых типах; нам нужно было только отметить то в высшей степени важное для нас обстоятельство, что, по признанию самого Лансона, преобладающие четыре психологии корнелевских героев...» (стр. рукописи 12).

<sup>3</sup> Рукописный текст этого места:

«...не было неизбежным результатом характеров и положений действующих лиц, а определялось независимым от их воли случайным сочетанием случайных причин». Вот на это-то отсутствие романтической запутанности и указывает Лансон: «Корнель никогда не прибегал к романтическим приемам: вы не найдете в его произведениях ни одного переодевания, ни одного incognito [инкогнито], исключение составляет только Don Sanche [«Дон Санчо»], которого нельзя назвать трагедией, и Héracles [«Геракл»], но в последнем произведении подмена детей является не средством развития сюжета, а его сущностью, и поэт пользуется этим». По мнению Лансона, Корнель никогда не прибегал к романтическим и т. д. Лессинг — в «Rodogune» [«Родогунда»] — действие

trop dire<sup>1</sup>. Еще Лессинг в своей «Гамбургской драматургии» показал, что немало умышленно запутанного и неестественного встречается иногда даже в лучших произведениях Корнеля, например в «Rodogune»<sup>2</sup>. Тем не менее все-таки неоспоримо, что в этих произведениях истины было несравненно больше, чем в сочинениях Гарди, Скюдери и т. п. Поэтому все-таки необходимо признать Корнеля первым по времени представителем стремления к истине во французской драматической поэзии. Но это обстоятельство ничего не говорит в пользу взгляда Лансона на литературу. Дело в том, что стремление Корнеля к истине в драматической поэзии было простым выражением тех рационалистических стремлений, которые свойственны были всему тогдашнему обществу и которые сами явились естественной реакцией настроению, господствовавшему в предшествовавший исторический период. Вот что говорит об этой реакции сам Лансон, перечисляя общие результаты XVI столетия: «Восстановлением абсолютной монархии и католической религии (при Генрихе IV) французы отстраняют от себя все раздражающие и опасные вопросы. Монтень уже ограничил область непознаваемого; но если он мог довольствоваться своим позитивизмом, то люди, нуждавшиеся в чем-нибудь несомненном, искали в религии ответа на вопросы, о которых молчал разум... Обеспечивши себя с этой стороны, ум, созревший в волнениях XVI века и в изучении древних, признает себя верховным судьей всякой познаваемой истины, и литература проникается позитивным и научным рационализмом. Область веры ограничена, а все выходящее из ее пределов решается разумом... Литература, в которой начинает господствовать разум, стремится к всеобщему; ее объектами становятся истина и обычай» и т. д. (стр. 447, 448). При таких условиях стремление Корнеля к истине не представляет собою ровно ничего такого, чего нельзя было бы объяснить общественными причинами, и можно удивиться только тому, что истина не восторжествовала в драматической поэзии еще раньше появления Корнеля.

Итак, Корнель явился во французской драматической поэзии первым гениальным представителем рационалистических стремлений, которые вообще были свойственны его эпохе и которые частью еще раньше, а частью одновременно выразились в других отраслях литературы, например в философии. Если мы не ошибаемся, такого рода «личные остатки» не могут препятствовать научному объяснению развития всемирной литературы.

Перейдем к выбору сюжетов. Корнель «думал о сюжетах частной буржуазной жизни, о том, что мы называем в настоящее время умышленно запутано и неестественно».

Место в печатном тексте со слов «обуславливалось не характерами» до «тем не менее» в рукописи зачеркнуто.

<sup>1</sup> [Это слишком сильно сказано].

<sup>2</sup> В изображении этой истины было, в свою очередь, очень много условного, соответственно привычкам и вкусам тогдашнего светского общества. Но речь идет теперь не об этом.

драмой, — говорит Лансон, — и он дал формулу этой драмы; но сам он не применил этой формулы» (стр. 550). Почему же? Не составляет ли это обстоятельство какого-нибудь «личного остатка» в литературной деятельности Корнеля? Лансон думает, что оно было вызвано многими причинами. Во-первых, потому, что «власть обнаруживает человека», как говорили древние греки: она освобождает его от многих стеснений частной жизни и дает возможность лучше исследовать природу его страстей. Это плохое объяснение. Оно оставляет совершенно неразрешенным вопрос о том, почему же это соображение относительно влияния власти было убедительно для всех выдающихся писателей XVII века и стало неубедительным в XVIII столетии, когда Нивель де ля Шоссе, Дидро и Бомарше начали в своих драматических произведениях выводить обыкновенных смертных вместо традиционных королей и героев. Не объяснит ли дела вторая из перечисляемых Лансоном причин? «Во-вторых, — продолжает он, — в его (Корнеля) время судьба знаменитых людей интересовала публику больше судьбы простых буржуа и давала более поводов для проявления великих страстей». Вот это другое дело. Если во время Корнеля судьба простых буржуа была мало интересна театральной публике, то понятно, что писатели не делали этих буржуа героями своих драматических произведений. Скажем более: буржуазная жизнь того времени была и в самом деле неинтересна с точки зрения драматического действия. А если в следующем веке судьба буржуазных героев могла вызвать огромный интерес в зрителях, то для этого была совершенно достаточная причина в том общественном положении, которое тогда частью заняла, а частью стремилась занять французская буржуазия. «Наконец, — заключает Лансон, — в общем исторические интересы дают страстям более понятное для всех основание, чем профессиональные или финансовые интересы, являющиеся источником буржуазных страстей». Это и так и не так. Источником буржуазных страстей не всегда являются одни только профессиональные или финансовые интересы: вот, например, в конце прошлого века буржуазию волновали также и великие «исторические интересы». Но, разумеется, они могли явиться у нее только при наличии известных условий, которые отсутствовали во времена Корнеля. Значит... значит, и для выбора этим писателем сюжетов именно того, а не другого рода, была совершенно достаточная общественная причина.

Легко было бы показать, — заметьте, на основании фактов и соображений, приводимых самим Лансоном, — что «форма корнелевской драмы» во всех своих частностях прекрасно объясняется психологией и обычаями господствовавшего сословия, которое во время Корнеля собственно и составляло театральную «публику». Но где же тот «личный остаток», который непременно должен был оказаться в произведениях Корнеля, если бы была верна теория Лансона?

Этого остатка мы не видим. И это не удивляет нас. Всякое литературное произведение есть выражение своего времени. Его содержание и его форма определяются вкусами, привычками и стремлениями этого времени, и чем крупнее писатель, тем сильнее и яснее эта зависимость характера его сочинений от характера его времени, — то есть, иначе сказать: тем меньше в его сочинениях тот «остаток», который можно было бы назвать личным. Главнейшая личная особенность, «высшая оригинальность» (читатель помнит это выражение Лансона) великого человека замечается в том, что он в своей области выразил раньше или лучше, полнее других общественные или духовные нужды и стремления своей эпохи. Перед этой особенностью, составляющей его «историческую индивидуальность», исчезают все другие, как исчезают звезды при солнечном свете. А такая историческая индивидуальность вполне может быть предметом точного анализа.

«Я не допускаю, — говорит Лансон, — чтобы можно было изучать литературу с какою-нибудь другою целью, кроме саморазвития, и руководясь какою-нибудь другою причиной, кроме доставляемого ею удовольствия». Это вполне понятно, принимая в соображение его теорию «личных остатков». Понятно также, что с ним не согласится никто из тех, кто, подобно нам, считает эту теорию неосновательной. Литературу можно и должно изучать с тою же целью, с какою биолог изучает органическую жизнь. Едва ли надо прибавлять при этом, что подобное изучение не может идти вразрез с целями саморазвития и что доставляемое им умственное наслаждение в своем роде не меньше и не ниже эстетического удовольствия, доставляемого чтением выдающихся художественных произведений<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Рукописный вариант конца статьи (последних двух абзацев):

«...психологией и обычаями господствующего сословия, которое во время Корнелия собственно составляло и театральную публику. Но место не позволяет нам пускаться в подробности. Ограничимся тем общим замечанием, что единственной заметной «личной остатком» в сочинениях всякого великого писателя есть именно тот, что эти сочинения удачно выражают общественные стремления своего времени. Та ко й остаток не мен...» Главная личная особенность, «высшая оригинальность» — чтобы употребить здесь выражение Лансона — великого человека заключается в его отношении к общественным (или духовным) нуждам и стремлениям своей эпохи. Перед этой особенностью — составляющей его историческую индивидуальность — исчезают все другие его особенности, как исчезают звезды при солнечном свете.

При своем взгляде на значение «личных остатков» Лансон совершенно прав, говоря: «Я не допускаю, чтобы можно было изучать литературу с какою-нибудь другою целью, кроме саморазвития, и руководясь какою-нибудь другою причиной, кроме доставляемого ею удовольствия». Однако само собой понятно, что с ним не согласится никто из тех, кто, подобно нам, не придает «остаткам» никакого существенного значения. Саморазвитие — великое дело: но разве научное познание истории человеческого духа не может содействовать целям саморазвития? Эстетическое удовольствие, доставляемое чтением великого литературного произведения, есть тоже нечто весьма почтенное; но оно не исключает удовольствия, которое может доставить анализ этого произведения как плода того или иного состояния общества. На самом деле только такой анализ и способен раскрыть перед нами его живую душу во всей ее глубине (стр. рукописи 21—22).

## РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Г. МОГРА «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ОДНОГО ОБЩЕСТВА»

ГАСТОН МОГРА. Последние дни одного общества. Герцог Лозен и внутренняя жизнь двора Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Перевод с французского. С.-Петербург. Издание Л. Ф. Пантелева, 1897 г.

Книга, название которой мы выписали, не первая работа Могра. Он уже издал целый ряд исследований, написанных им отчасти в сотрудничестве с Люсьеном Пере (псевдоним m-lle Эрпэн) и касающихся жизни некоторых более или менее выдающихся людей Франции прошлого века. Таковы сочинения: «L'abbé Galiani», «La jeunesse de madame d'Epinau», «Les dernières années de madame d'Epinau», «La vie intime de Voltaire aux Délices et à Ferney», «Voltaire et Rousseau»<sup>1</sup>. Все эти сочинения свидетельствуют о трудолюбии их авторов (или автора), но они не блещут ни талантливостью изложения, ни глубиной мысли. Скажем более и откровеннее: Гастон Могра представляется нам довольно ограниченным человеком. Его взгляды очень узки, его суждения очень пристрастны. Его пугают «опасные утопии» Руссо («Voltaire et Rousseau», p. 588)<sup>2</sup>; его ужатают события конца прошлого века<sup>3</sup>. Он не умеет взглянуть на них с объективной точки зрения. При такой впечатлительности и при таком отсутствии объективности можно только собирать материалы для историков, а самому нельзя сделаться историком. Такое значение материалов имеют все вообще сочинения Могра и в частности книга «Последние дни одного общества».

<sup>1</sup> [«Аббат Гальяни», «Молодость г-жи д'Эпинау», «Последние годы г-жи д'Эпинау», «Интимная жизнь Вольтера в Отранном и в Фернее», «Вольтер и Руссо»].

<sup>2</sup> [«Вольтер и Руссо», стр. 588].

<sup>3</sup> В рукописи по цензурным соображениям зачеркнуто: «его до сих пор приводят в содрогание ужасы революции». — Р е д.

Героем этой книги является герцог Лозэн, в последнее время своей жизни носивший титул герцога Бирона. Известно, что многие нападали на Лозэна как на крайне безнравственного человека. Могра оспаривает этот взгляд. По его мнению, конечно Лозэн не был «ангелом невинности» в своих отношениях к женщинам, но это не личный его недостаток: в XVIII веке мужчины его сословия<sup>1</sup> и не умели иначе относиться к женщинам. Да и сами женщины этого класса не мечтали о вечных привязанностях; в любви они искали лишь временных развлечений. Лозэн очень любил такого рода развлечения, но в то же время он был добр, великодушен, отличался тонким умом, верностью в дружбе, благородной гордостью и рыцарской отвагой. Он «был самым полным, самым блестящим воплощением конца восемнадцатого века», — говорит Могра, — он отличался всеми его недостатками, но и всеми его обаятельными сторонами, благородными и великодушными воззрениями». Это неверно. Без всякого сомнения, Лозэн был изящным, добрым и великодушным баринoм. Но именно в силу своего барского воспитания, характера и образа жизни он не может считаться «полным воплощением конца восемнадцатого века». Умственный труд играл в его жизни лишь самую незначительную, случайную роль, а между тем энергичная и страстная работа мысли составляет отличительную черту восемнадцатого столетия и особенно второй его половины. Воззрения Лозэна действительно не лишены были благородства; он, повидимому, довольно горячо увлекался новыми стремлениями своего века, но и тут он оставался, собственно говоря, лишь добрым и великодушным баринoм. Сам Могра прекрасно понимает, что тогдашние французские аристократы сочувствовали новым учениям совсем не так, как сочувствовали им передовые представители третьего сословия. Он говорит: «Хороший тон требовал, чтобы смеялись над старинными обычаями этикета и старыми монархическими учреждениями. Прославляли свободу, явившуюся вместе с новым направлением. Увлекались новыми воззрениями, философией, демократией, равенством, но во всем этом замечалась игра и позировка; в глубине души эти люди были убеждены, что все останется неизменным в порядке вещей, просуществовавшем несколько столетий и имевшем для них свою приятность. Преимущества знатного происхождения должны были существовать и впредь, доставляя все выгоды и радости жизни. Аристократия и не думала отказываться от своих привилегий, что как нельзя лучше подтверждается, например, тем, что маршал Сегюр выбрал именно эту критическую минуту, чтобы постановить, что офицерские места в армии будут предоставляемы исключительно дворянству. Вельможи, стоявшие во главе старинных аристократических фамилий, полагали, что их значение так же непоколебимо, как и сама французская монархия, и они со спокойной сове-

<sup>1</sup> В рукописи вместо «сословия» было — «класса». — Р е д.

стью предавались оппозиции, которую почитали безвредной для самых ее основ». Это как нельзя более справедливо и это очень хорошо объясняет ту реакционную роль, которую стала играть аристократия тотчас же, как только увидела, что дело идет не о салонных выходках против привилегий, а об их действительной отмене. Правда, Лозэн относился к новым стремлениям серьезнее, чем многие и многие из аристократов. В ночь на 4 августа он был в числе тех дворян, которые с энтузиазмом отказывались от своих привилегий. Но и в этом отказе было что-то до крайности легкомысленное: «Когда дело было кончено, — рассказывает Могра, — он (Лозэн) не мог воздержаться, чтобы не сказать своим друзьям: «Господа, что мы сделали? Знает ли это кто-нибудь?» И вокруг него каждый сознавался, что ничего не знает». Впоследствии Лозэн служил даже в войсках республики; но уже одно то обстоятельство, что он был дружен с герцогом Орлеанским, должно было вызвать крайне недоверчивое отношение к нему со стороны республиканцев. Да и сам он чувствовал себя очень неловко в новой для него среде, стремлениям которой он тогда уже решительно перестал сочувствовать. Он и погиб жертвой своего противоречивого положения. Нам кажется, что его политическая деятельность очень верно объясняется следующими словами Герцога Леви, приводимыми Могра: «Главной причиной его несчастий не была, как то можно было предположить, ни пламенная любовь к свободе, ни экзальтированность республиканских воззрений... Одним словом, он слишком легкомысленно поверил возможности повторения времен Лиги и Фронды, когда вельможи могли безнаказанно проявлять свое недовольство. Это-то и погубило его».

Но если, ввиду всего сказанного, Лозэна далеко нельзя считать самым полным и самым блестящим представителем конца XVIII века, то он все-таки представляет собою замечательную и по-своему весьма симпатичную фигуру. Могра не ошибался, когда думал, что изображение его полной тревожной жизни до известной степени воскресит перед нами все высшее французское общество, беспощадно и безвозвратно разрушенное революционной бурей. Французская аристократия того времени может служить интересным образчиком класса, находящегося в упадке и быстрыми шагами приближающегося к своей гибели. Западно-европейское дворянство вызвано было к жизни исторической необходимостью общественного разделения труда. В лучшую пору своего существования оно было правящим и военным сословием. Из этой его общественной службы выросли все его привилегии, которые первоначально не противоречили никакой справедливости, так как являлись единственным возможным в то время способом экономического обеспечения класса, по самому роду своей общественной службы не могущего принять непосредственное участие в общественном производстве. По мере того как развитие общественных производительных сил выдвигало новые обществен-

ные нужды, удовлетворить которые могла тогда лишь абсолютная монархия, и по мере того как с упрочением этой монархии росла бюрократия и постоянная армия, исчезал и исторический смысл существования дворянского сословия. Оно делалось все более и более бесполезным сословием, годным лишь на то, чтобы блистать в залах Версаля и других королевских резиденций. Сообразно с этим и привилегии его становились невыгодными для существующего общества и вредными для его дальнейшего общественного прогресса. Тогда и началось то оппозиционное движение некогда совершенно безответного третьего сословия, на почве которого возникли новаторские стремления XVIII века в области философии, политики, литературы и искусства. Пока дело не дошло до отмены отживших свое время учреждений, образованная часть дворянства не только не восставала против этих новаторских стремлений, но даже сочувствовала им, — совершенно так, как сочувствовало когда-то образованное духовенство Италии языческому духу Возрождения. Это явление очень интересно с точки зрения психологии классов, оно заслуживало бы подробного рассмотрения. Напомним хотя то, что в XVIII веке французская аристократия — как светская, так и духовная — очень скептически относилась к религии<sup>1</sup>. В ней быстро распространился деизм и даже атеизм. «Однако и наиболее неверующие продолжают видеть в религиозности признак хорошего тона, — говорит Могра, — а главное — полезную узду для низших классов... Поэтому-то скептическое и атеистическое общество сохраняет религиозную обрядность и навязывает народу те самые верования, над которыми смеется. Оно ходит к обедне, причащается, призывает священника к одру умирающих; в некоторые особо торжественные дни церкви бывают переполнены; в праздник тела господня и другие большие праздники кардиналы, епископы, сановники в лентах, члены судебного ведомства в красных мантиях, все представители государственного управления теснятся вокруг святых даров; кортеж отличается величайшей торжественностью; пушки отдают салют, войска — военные почести, все присутствующие набожно опускаются на колени. Все исполняют религиозные обязанности, но сколько атеистов среди этих якобы верующих». Когда впоследствии это же самое общество рукоплескало бедным вандейским крестьянам, восставшим на защиту религии, то оно, конечно, руководствовалось соображениями, с религией не имеющими ничего общего. Замечательно, что один из самых даровитых и блестящих представителей французской аристократии, Шатобриан, в своем «Génie du Christianisme»<sup>2</sup> защищал христианскую религию главным образом

<sup>1</sup> В рукописи есть зачеркнутая фраза: «Тэн рассказывает, что когда одного парижского священника спросили, религиозны ли на самом деле епископы, он после некоторого размышления ответил: «Возможно, что между ними еще есть четыре или пять человек, еще не утративших веры». — Р е д.

<sup>2</sup> [«Гений христианства»].

с эстетической точки зрения. Всякий искренно верующий человек увидел бы в такой защите простое кощунство.

«В бога уже не верят, но так как влечение к чудесному и сверхъестественному присуще человеческой природе, — говорит Могра, — то верят в Месмера, в Калиостро, в волшебство, верят гадалщицам и боятся пятницы, тяжелого дня» (стр. 9). В другом месте он удивляется: «Никто не веровал уже в бога, но все уверовали в Калиостро», и рассказывает, как его герой Лозэн вместе с герцогом Шартрским и другими светскими львами занимался вызыванием дьявола и тому подобными нелепостями (стр. 402 и сл.). Но что же показывает такое настроение высшего парижского общества? То, что это общество еще не доросло до трезвого философского взгляда на природу, но что в то же время его уже не могла удовлетворять та совокупность верований, которая сложилась в средние века на гораздо более низкой стадии общественного развития. Оставляя в стороне вопрос о том, как относится вера в чудесное к человеческой природе, можно с уверенностью сказать, что одной этой веры совершенно недостаточно для господства в данной среде данной системы догматов. Для такого господства нужно известное общественное настроение, обуславливаемое известными общественными отношениями. Во Франции прошлого века старые верования рушились именно потому, что все более и более расплывались старые общественные отношения.

В настоящее время высшее французское общество тоже охотно развлекается всякого рода чертовщиной. Оно тоже состоит из декадентов; оно тоже доживает последние дни. Ввиду этого можно спросить: насколько оно лучше или хуже французского аристократического общества конца прошлого века? Могра также задается таким вопросом, хотя и по другим соображениям: «Действительно ли это беспечное, утонченное и жизнерадостное общество было хуже нашего? — спрашивает он. — Не увидим ли мы в трагические моменты революции этих самых легкомысленных царедворцев, этих изнеженных женщин, то утопающих в удовольствиях, то подвергающихся истерии, не увидим ли мы их стоически переносящими разорение, нищету, тюремное заключение? Не всходили ли они на эшафот с улыбкой на устах, без крика, без слез, без жалоб?» На этот вопрос ответить нетрудно: декадент-аристократ как человеческий тип несравненно выше декадента-буржуа, у декадента-аристократа остается некоторая традиция рыцарства, между тем как у декадента-буржуа нет ничего, кроме ненасытной утробы. Если типичным представителем склонившегося к упадку высшего французского общества можно считать герцога Лозэна, то типичными представителями нынешнего буржуазного общества во Франции являются персонажи вроде монашановского Bel ami<sup>1</sup>. Но об этом излишне распространяться. Историческая миссия буржуазии заключалась вовсе не в культивировании рыцарских

<sup>1</sup> [«Милый друг»].

характеров, а в том высоком развитии общественных производительных сил, без которых цивилизованное человечество навсегда застряло бы в болоте застоя, несмотря на самые восхитительные «формулы прогресса»...<sup>1</sup>

Перевод книги Могра не то, чтобы плох, но и не хорош. Местами он совсем неудачен. Вот, например, прочтите эти строки: «Пожалуйста, моя милая, [не воображайте, что под каким бы то ни было предлогом и какой бы оборот вы ни давали делу, мы ни за что на свете не примем услуги чрез посредство маршальши. Я предпочла бы всякие муки позору быть обязанной человеку, которого презираешь. Помните, что оказывать услуги друзьям нужно, только соображаясь с их вкусами, и что вернейший друг не простил бы услуги, купленной] ценою чести». Не воображайте, что мы не примем, — значит: мы непременно примем. На самом же деле это должно означать совершенно обратное: не примем ни в коем случае. На стр. 503 мы читаем: «Однако Бирон [повиновался в силу привычки к воинскому повиновению, однако же нисколько не обманывая себя относительно ожидавшей его участи]». Неужели нельзя было избежать таких описок? Кроме того, переводчик или — должно быть — переводчики различно пишут одни и те же имена: в некоторых местах книги мы имеем дело с г-жами Диллон, Дюдеффан и с кавалером Делилем, а в других эти лица превращаются в г-жи дю Деффан и Дельон, в кавалера де л'Иля. Это неудобно. Неудобно также: писать Бурбоне, Гемене, Лозен, когда произносить нужно: Бурбоннэ, Геменэ, Лозэн и т. д. Об английских именах и названиях мы уже не говорим, принца Уэльского переводчики называют принцем Валлийским, а Глостер — Глочестером.

<sup>1</sup> На этом кончается печатный текст рецензии в «Новом слове», дальше текст печатается по рукописи, сохранившейся в музее Плеханова. — Р е д.

## КОММЕНТАРИИ